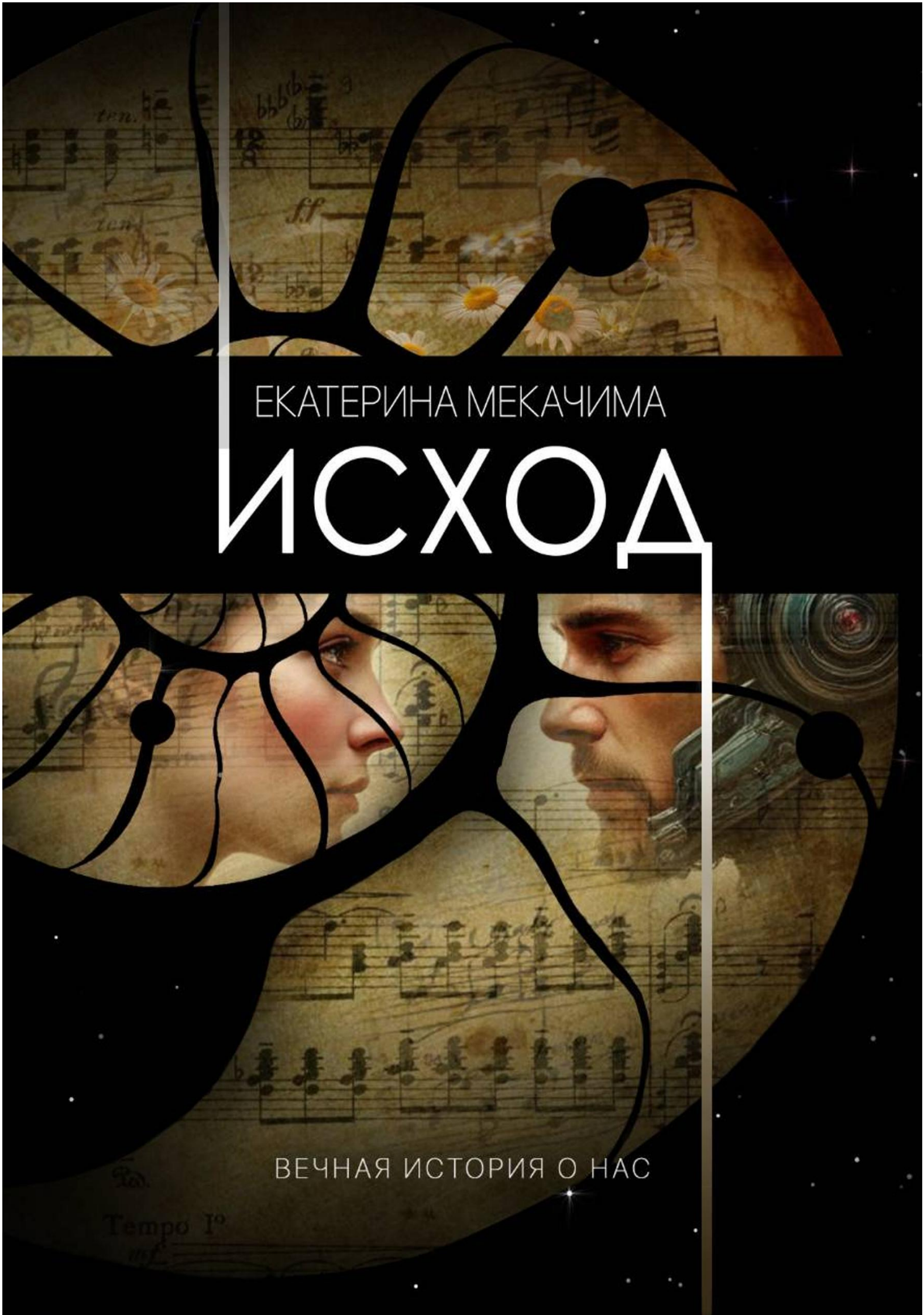

ЕКАТЕРИНА МЕКАЧИМА
ИСХОД
ВЕЧНАЯ ИСТОРИЯ О НАС

Екатерина Мекачима

Исход

«Автор»
2026

Мекачима Е.

Исход / Е. Мекачима — «Автор», 2026

Что есть миг по сравнению с вечностью?Что есть жизнь?Что общего между средневековым арабом и пилотом боевого истребителя, гениальным физиком и заключённым немецкого концлагеря, между графом-аристократом и нищей слепой цыганкой?Герои романа — обычные люди из разных эпох. Они не спасают Землю и полагают, будто их поступки ничего не значат.Но именно исход выбора каждого из нас и определяет историю, которая вновь и до неузнаваемости изменит окружающий мир.

© Мекачима Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента. 59

Екатерина Мекачима
Исход

Посвящается моим родителям и сестре:

Отцу — Василию Григорьевичу — за веру в меня и в мои силы, когда в них не верила я. За опору в пути.

Матери —Ольге Александровне — первому читателю этой истории. За убеждение в том, что однажды эта книга увидит мир, за веру в то, в чём, порой, сомневалась я сама.

Сестре — Лине— за мудрые советы, которые всегда поддерживали в трудную минуту. Спасибо.

Без вашей любви и поддержки этой бы книги не было.

***

«Вся земля была едиными устами и одним наречием. Двинувшись с Востока, они нашли равнину в земле Сеннаар и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжём огнём. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес; и сделаем себе имя, чтобы нам не рассеяться по лицу всей земли.

И сошёл Ягве посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие.

И сказал Ягве: вот, один народ, и один язык у всех; и вот что они начали желать, и теперь, что бы они ни задумали делать, ничто не будет для них недоступным. Сойдём же, и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.

И рассеял Ягве их оттуда по всей земле; и они перестали строить город»

Быт 11, 1–9.

Не существует изолированных систем: каждая частица Вселенной находится в «мгновенной» связи со всеми остальными частицами. Вся Система, даже если её части разделены огромными расстояниями, функционирует как Единая Система.

Джон Бэлл, физик. Теорема квантовой физики.

Исход

1.

Разве они не видели, сколько поколений Мы погубили до них? Мы одарили их на земле властью, которой не одарили вас, ниспосылали им с неба обильные дожди и заставляли реки течь под ними. Мы погубили их за их грехи и создали после них другие поколения.

Коран (6:6).[1]

XXII век, 60 лет после Вторжения.

Среди далёких звёзд Вселенной,
В одном из множества миров,
Дворец построил хан, нетленный
Собрав из душ его покров.

[1] Коран, сура «Скот», аят 6. Перевод. Эльмир Рафаэль оглы Кулиев.

И плакала Земля под сводом
Небесной равнодушной тьмы.
Пока мы умирали, долго
Сдаваясь милости судьбы.

Сдаваясь милости судьбы... Утробные раскаты грома сотрясают пространство, дрожью разливаются по телу. Далеко, словно за толщью мутной воды, мелькают чьи-то неясные тени. Всполохи света то озаряют всё сущее божественным огнём, то скрываются в алой тьме преисподней.

Среди далёких звёзд Вселенной... Земля сотрясается в рыданиях, стонет. *В одном из множества миров...* Воздух, подхваченный мощным ураганом далёкого взрыва, горит, горит, горит... *Дворец построил хан.* Ветер обнимает тело, наполняет лёгкие огнём. *Нетленный собрав из душ его покров.* Голоса. Среди огненной бури слышатся голоса, словно далёкие крики чаек. Чайки и ураган. Когда-то были на Земле моря, об этом рассказывали старики, но сейчас господствует лишь огненный океан.

— Она жива! — ветер поднимает тело на руки.

И плакала Земля под сводом небесной равнодушной тьмы. Рокот взрыва, кажется, вот-вот разорвёт ткань мироздания. Чей-то голос шепчет. Удивительно: голос слышится сквозь гром и залпы орудий. Мягкий голос, не мужской и не женский, шепчет. *Пока мы умирали. Долго сдаваясь милости судьбы.*

Но мне уже всё равно. Мне невыносимо... я больше не могу. Я сдаюсь. Сдаюсь боли, и боль отступает. Сдаюсь страданиям. И они уходят. Вместе с ними покидают разум и муки совести. Как же они нелепы, эти муки, перед вечным светом. И вновь голос... я слышу его. *Среди далёких звёзд Вселенной дворец построил хан.* Я слышу голос и не чувствую тела. Только шёпот, свет и невыносимая лёгкость... *Нетленный собрав из душ его покров.* Покров из душ. Для дворца во Вселенной. Смотрю со стороны, как моё изувеченное тело несут сквозь огненное зарево. Но мне всё равно. Тело мне больше не нужно: без него, оказывается, удивительно легко. Я даже смогу построить дворец, как хан, во Вселенной. Всё остальное — неважно. Не важно. Чувств не осталось — мир наполняет тёплая искрящаяся пустота... Пустота обнимает меня, протягивает мне руку. И я тянусь в ответ. Взрывы растворяются в сияющем зареве вечности...

Безмолвный крик режет лёгкие, и я открываю глаза: за бронированным стеклом танка — пустыня. Безликая, сливается с пронзительно-синим небом. Волшебную картину безмятежного бытия портит едва видимый в небе силуэт гигантской сферы. *Они*. *Они* следят. Следят за нами. Мне становится паршиво, и я отворачиваюсь. Я вновь уснула в дороге и вновь увидела тот же кошмар.

Смотрю на соседей: многие спят, кто-то читает на планшете. Пехотинец в переднем ряду слушает музыку. Улыбаюсь: в такие мгновения кажется, что ещё не всё потеряно. Хотя музыку давно никто не пишет.

— Всё хорошо? — кладёт руку на моё плечо сосед: мой косматый стрелок. Он всё ещё собирает волосы в хвост, когда большинство бреется налысо. Так легче, когда запасы воды на исходе. Хотя я тоже ношу волосы. Не знаю почему. Наверное, потому что это нравилось Рустаму. Стрелок старше меня, ему почти сорок. Хороший человек, надёжный. Виктор зовут.

— Да, — киваю, а сама себе не верю.

— Снова кошмар, Кира?

Молча киваю. Виктор — единственный, кому я кроме Рустама доверила свой ужасный сон. Рустам... Сколько лет прошло с нашей последней встречи? Месяц, год, десять? С тех пор, как меня сделали пилотом, я тебя не видела. А ведь я любила тебя... И сейчас, наверное, люблю.

— Ты разобрала, о чём шептал голос? — спрашивает Виктор.

— Да, — отвечаю и стараюсь улыбаться. — Это было стихотворение. Про хана.

Виктор удивляется:

— Расскажешь?

Я тихо читаю два четверостишия и смотрю на Виктора. Он глядит куда-то в другой мир.

— Красиво, — шепчет. — И по-нашему, тотально.

— Может, ты знаешь автора?

Стрелок отрицательно качает головой:

— Когда доберёмся до Аркама Два, я попрошу Ли, историка, посмотреть в Библиотеке. Он мне за пиво должен. Целую бутыль святого напитка на него потратил!

Смеюсь. Пиво. Отголосок прошлого. В столовой иногда можно получить синтетическое безалкогольное пиво. Правда, мне оно не нравится. Интересно, какое было пиво раньше? Наверное, оно было настоящим, как и мир. Хотя... Меня до сих пор мучают загрузки истории. Был ли наш мир когда-нибудь настоящим?

Вновь смотрю в окно бронехода. Вблизи песок смешивается в единую массу, а вдали превращается в застывшие волны. Барханы очень похожи на волны. Вот бы посмотреть на настоящее море, вдохнуть его легендарный запах. Сейчас половина планеты затоплена, половина — умирает от засухи. Я не видела умирающие моря, но, говорят, жуткое зрелище. Берега завалены гниющей рыбой, водорослями и мусором. Вода — чёрное радиоактивное месиво. Как же хочется увидеть ту синюю настоящую безбрежную водную гладь, которую иногда показывают в старых фильмах. Посмотреть, как синева моря сливается с небесной у горизонта... Кино. Вот было время-то: люди снимали кино. Удивительно. Как же нужно жить, чтобы тратить своё время на создание иллюзий. Красивых, конечно, но иллюзий. Знаю, тогда было другое мышление. Другое сознание. В те времена люди не выживали, они жили. Как же хочется жить. И как же тяжело это делать.

Бронеход сбавляет скорость: ковчег. Надо бы радоваться, что мы добрались живыми, но меня вновь сковывает тоска. Каждый раз, когда отправляюсь на задание в другую базу, тайно надеюсь встретить его. Хотя, знаю, это невозможно. Но... Среди беженцев или новобранцев. А может, замечу знакомую фигуру на вылазке в пустыню, среди каравана цыган. Но у Вселенной, видимо, другие планы на наш счёт. Самое ужасное, я даже не помню его лица. Не помню лица человека, которого люблю. Да. Я до сих пор его люблю. Я помню лишь счастье: короткое и яркое, будто из того мира, где всё ещё снимают кино.

Я помню квартиру в разрушенном городе, где мы жили: одна комната и ванная, где когда-то была вода; закуток, который когда-то именовался кухней. На окне кухни осталась истлевшая занавеска с белыми цветочками. Когда мы выставляли стекло, занавеску поднимал лёгкий ветерок, и её края светились в дневном свете.

Мы носили воду из колодца, что был вырыт в парке. Вернее, вырыт там, где раньше был парк. Об этом свидетельствовали сухие пни, торчащие из растрескавшейся земли. Однако все жители гордо именовали это место парком. Окно с занавеской как раз выходило туда. Так что у нас с Рустамом действительно был парк. К колодцу обычно выстраивалась длинная очередь. Мы вставали до рассвета, чтобы набрать самую чистую воду.

Кто и когда выкопал колодец, было загадкой. Говорили, будто герой из соседнего района ещё полвека тому назад отремонтировал старый экскаватор и спас людей от смерти. Кто-то полагал, что просто пробили дыру в подземное водохранилище. А может, колодец — воронка от старого взрыва. Не знаю. Самое главное — вода была. Бóльшего нам было и не нужно. Летом, конечно, её становилось меньше. Тогда мы удлиняли верёвку нашего ведра. Она была из перекрученного каната, шершавая. Её где-то раздобыл Рустам.

Бронеход останавливается и с лёгким шипением примагничивается к спрятанному среди песка лифту. Мы начинаем спускаться под землю. Песчинки отскакивают от бронированной

обшивки нашего транспорта, и горизонт поднимается всё выше и выше, пока окно не поглощает чернота.

В моей памяти всплывают редкие прогулки под звёздами. Над городами, над тем, что от них осталось, небо почти всегда затянуто серой пеленой. Но иногда оно проясняется. Почему-то чаще это случается ночью. Из-за кошмаров я всегда плохо спала, и, когда мне доводилось увидеть в окне ясное звёздное небо, я будила Рустама, и мы шли гулять. Мы гуляли среди развалин, взявшись за руки. Гуляли под звёздами. Сверкающая лента Млечного Пути пересекала небосвод, и я говорила Рустаму, что звёзды — это далёкие миры. И эти самые миры освещают наш мир, как и он своим серебристым светом освещает их. Рустам улыбался и называл меня небесным ангелом. Небесным ангелом с солнечными волосами. А я думала, что мой ангел — он. В его чёрных бездонных глазах — целая Вселенная. В Рустаме было нечто особенное, родное. Даже когда я не видела его лица, я чувствовала, как он улыбается. А как он произносил моё имя... Лишь в его устах оно приобретало смысл, особое значение. Другие, даже Виктор, произносят моё имя сухо. Произносят никак. А Рустам... Он знал, по-настоящему знал, как зовут меня. Наверное, он познал тайну моей души. Как и я его.

Лифт с гулким эхом останавливается, и окно освещает красноватый свет коридора. Решётка лифтовой шахты поднимается с лёгким стрекотанием, и наш бронеход медленно выкатывается. Машина едет по красным коридорам, образующим гигантскую подземную сеть. Я вспоминаю рассказы стариков о том, как они ездили в метро. Я любила со стариками беседовать, когда ходила за водой. Их рассказы о том мире, которого я никогда не видела, волновали меня, будоражили воображение. Под землёй ходили скоростные поезда, которые могли быстро доставить пассажиров из одного конца города в другой. Подземные станции были богато украшены, будто дворцы. Когда я попала на ковчег, и меня научили читать и писать, метро — первое, о чём я прочитала в Единой Библиотеке. Фотографии и съёмки подземных городов потрясли моё воображение. Ещё больше меня удивили люди: они походили на зомби из сказок. Безликая толпа не обращала внимания на окружающую красоту. Они ни на что не обращали внимания. Наверное, они не понимали, какими сокровищами обладали. Я бы очень хотела хоть чуточку пожить в том волшебном времени, когда снимали кино и ездили в подземных дворцах.

Бронеход останавливается в зале-стоянке. Здесь уже яркий свет дневных ламп. Хромированные перекрытия похожи на изломанные скелеты. Открываются двери. Сначала выходят первые ряды, затем — мы. Виктор помогает мне, улыбается, что-то говорит. Я киваю и иду рядом с ним в строю, отдаю честь встречающим нас генералам. Затем мы расходимся по каютам — так заведено называть своё койко-место во всех подземных ковчегах. У пилотов, в отличие от других военных, каюты отдельные. Нам нужно больше и лучше отдыхать: управление истребителем всецело зависит от нашей с ним нейронной синхронизации. Именно из-за врождённой способности сосредотачиваться и сверхактивности мозга меня и завербовали. Мне сказали, что если бы я родилась до эпохи Вторжения, стала бы великим учёным. Как будто это могло меня успокоить. Иду к своей каюте, а в голове вновь, против воли, всплывают ужасные кадры моей вербовки.

В наш город пришли миротворцы. Они и до этого бывали, но не предлагали эвакуацию. Говорили — очередь. А в тот раз специально за нами пожаловали. Ими руководила высокая генеральша с короткой стрижкой и стальными глазами. Она рассказала нам о подземных ковчегах — зарождении новой цивилизации. Чтобы попасть на ковчег, нужно было пройти проверку. Для этого каждого желающего сканировали: проверяли, есть ли в человеке иное сознание, так они говорили нам. Если бы нашли хотя бы одного — миротворцы тотчас зачистили бы весь город.

Я помню длинную очередь и ледяной дождь со снегом. С грязным серым снегом, больше похожим на пепел. Я очень замёрзла, меня обнимал Рустам. Он шептал о том, как хорошо нам будет на ковчеге, где, как уверяли военные, есть даже водопровод. А также нормальная еда,

как раньше. Или почти как раньше. Но мне этот обещанный рай почему-то внушал опасения. Наверное, предчувствие. Ведь у меня какая-то особенная активность нейронных цепей. Эту фразу, сказанную женщиной с серыми глазами, я запомнила навсегда. Как и покалывание у лба от её маленького сканера. Она меня, как и других, просканировала, только вместо того, чтобы определить в группу спасённых, жёстким голосом рассказала всем о моих нейронах. Затем отправила к пехотинцам с приказом срочно доставить на военную базу на обучение нового пилота. Они меня тут же схватили под руки, будто преступника. Я сопротивлялась, Рустам пытался мне помочь. Здоровенные миротворцы его так и не пустили. Генеральша говорила, что нам с Рустамом не по пути, но мы с ним ещё обязательно встретимся. Говорила, что он отправится на ковчег со всеми спасёнными, а я — на другую базу, учиться. Что наше расставание временно, что я нужна обществу. Она говорила кратко и сухо, а мой мир растворялся в радуге слёз. Помню, что мне очень хотелось оказаться на нашей кухне с занавеской в белый цветочек и видом на парк. Я даже зажмурилась. Но когда открыла глаза, меня уже сажали в военную машину. Я до сих пор не могу простить себе, что не простилась с любимым даже взглядом. Я тогда до ужаса испугалась.

Помню свою первую военную базу: серое безликое зарытое в землю существо. Меня, как и ещё нескольких человек, сначала очень долго везли в бронеходе. Я плакала, просила вернуть меня обратно, но миротворцам было всё равно. Они напомнили мне камни. Сейчас, когда я изучила Библиотеку и прошла множество загрузок, я бы сравнила их с каменными идолами. Но тогда — просто камни. В серой броне, с серой кожей, почти не видевшей солнечного света, и пустыми глазами людей, привыкших слепо следовать приказам. В конце концов, я уснула. Когда проснулась, наш танк уже был на подземной стоянке. Дальше меня кому-то представляли, оформляли и заполняли кучу бумаг. Я тогда и писать-то особо не умела: ставила, где надо, свою закорючку, придуманную тут же. Всё было как во сне и будто не со мной. Меня до сих пор не покидает это странное ощущение. Чувство, будто я смотрю на свою жизнь со стороны.

Затем были бесконечные тесты и проверки. Я до сих пор не знаю, сколько прошло времени с момента моей вербовки. Я слушалась безоговорочно. Сдавала анализы, ложилась в приборы, ходила на уколы, пила таблетки и выполняла все предписания. Мне даже вручили грамоту за дисциплину. Она стала очень удобной подставкой под чашку с кофе. Кофе — мутная растворимая бурда — пожалуй, единственное, что мне действительно пришлось по душе в новом мире. Кофе и кино. Помню, когда мне только разрешили смотреть фильмы, я глядела их запоем. Водопровод, правда, тоже впечатлил.

Когда завершилась моя акклиматизация, как доктора называли моё превращение в цивилизованного человека, началась учёба. Меня учили читать и писать, решать логические задачи. Всё давалось мне на удивление легко. Когда я освоила базу, азы наук, как говорили мои наставники, меня подключили к Единой Сети: надели на голову шлем с проводами, который погружал в мир науки. Такое можно делать не с каждым, говорили они, и это было ещё одной причиной моей вербовки. С тех пор я часто роптала на природу, одарившую меня мощным интеллектом. Загруженные в мой мозг знания и умения отлично там уживались на радость моим хозяевам. Тогда я ощущала себя подопытной мышью. О существовании таких мышек я узнала в одной из загрузок, посвящённой биологии. Но это состояние прошло, когда я, наконец, познакомилась с другими такими же мышами. Тогда я узнала, что не всех готовят в пилоты: даже странно, что у меня были настолько нелепые мысли, будто на этой базе обитают лишь будущие лётчики. Были ещё будущие конструкторы истребителей, пилоты робототехники, инженеры, врачи, физики и химики. Биологи. И всем так же загружали знания в мозг и проводили тесты. Мы говорили на разных языках и даже играли в волейбол. А ещё я полюбила бегать.

Я часто спрашивала о Рустаме. Но военные и руководители лишь качали головами: кто знает, в какую базу его отправили. Со временем меня стало мучить ощущение, что от всех

нас что-то скрывают. Под землёй оказались целые города: из загрузок я узнала, что по всему миру спрятано двадцать ковчегов. А наверху всё ещё гибли люди. Не только от атак иных. Но и от голода и болезней. Когда моих вопросов стало слишком много, меня вызвала на разговор руководитель программы загрузочного обучения. Ей было лет пятьдесят, и она носила чёрный глянцевый парик. По протоколу её звали Киота Зар. Странное имя для китаянки. Глаза у Киоты были глубокие и чёрные, в них можно было смотреться, словно в зеркала. И она никогда не улыбалась. Она родилась в страшное время: всего лишь через десять лет после Вторжения. Не хотела бы я быть ею.

Киота посадила меня напротив себя, угостила кофе. Её кабинет был просторным: у стеклянного стола стояло целых два стула и при входе — маленькая тумбочка. Киота сказала, что раньше кофе варили из зёрен. Да, я помню это из загрузок. Затем Зар спросила меня про успеваемость и самочувствие. Сказала, что скоро начнутся занятия на симуляторах. Для этого меня перенаправят в другую базу, уже военно-воздушных сил. Там из меня сделают настоящего пилота. Поговорила со мной на китайском и арабском. Я терпеливо ждала, а она, как могла, тянула. Налила ещё кофе, в счёт своего обеда, сказала. Я улыбнулась. И тогда Киота решилась. Только сейчас, по прошествии стольких лет, я понимаю, насколько отважен был её шаг: рассказать мне правдуКиота говорила тихо и сбивчиво. Говорила о том, что наверху — зараза и болезни, и бóльшая часть процедур, которые мне довелось пережить по прибытии, была всего лишь лечением. Когда мои анализы стали нормальными, началось обучение. Если бы меня не удалось вылечить от всего букета инфекций, коими я обладала, меня пришлось бы отправить обратно. Именно поэтому вначале меня держали одну. Карантин. Дальше она могла бы не говорить. Я уже всё поняла. Сканирование выявляло не сколько иных, столько позволяло отобрать пригодных. Характеристики просты: до двадцати пяти лет, без детей, обучаемые. Так создавали новую цивилизацию, которая должна будет дать достойный отпор захватчикам. На непрошедших тесты средств не тратили: их свозили в гигантские лагеря под открытым небом. Им обеспечивали минимальные удобства и защиту в виде радиоэкрана, который делал поселения невидимыми для техники иных. Когда меня забрали, Рустаму было, наверное, тридцать. Я плакала.

Слеза мешает сканеру сетчатки просканировать мой глаз. Я моргаю, смахиваю её рукой и вновь смотрю в камеру. Дверь каюты с лёгким шипением открывается. Моя белоснежная келья. Постель, стол с голографом, дверь в ванную, в которой настоящая вода. Экран-окно с ненастоящими деревьями: если включить звук, деревья будут даже шуметь. Вместо леса можно выбрать море, но это слишком отважно. Ловлю себя на мысли, что моему парку не хватает занавески с белыми цветочками.

Снимаю униформу, кладу её в лифт, что вмонтирован в стену рядом с постелью. Он доставляет одежду в прачечную, которая находится на самом нижнем уровне. Из другого лифта вынимаю чистое бельё и иду в душ. Вода. Каждый раз испытываю блаженство. Нормы маленькие, но этого вполне хватает. Вытираюсь, пью таблетку, делаю укол. Привычная процедура поддержки организма при дефиците солнечного света и на химической пище. Смотрю на голограф: до общего ужина часов пять. Идти за дополнительной порцией нет никакого желания. Завожу будильник и сажусь на постель. Бросаю взгляд на верхний ящик прикроватной тумбочки. Я обещала больше не открывать его. Ложусь, но тут же поднимаюсь обратно. Открою последний раз. Последний. И больше не буду, никогда. Только перед полётом, чтобы взять амулет с собой. И всё. Просто так — никогда. Собираюсь с духом и достаю подарок Рустама — подвеску-ракушку, оплетённую сканью. Рустам говорил, что ракушку носила его мама: кулон подарил ей его отец, как символ их любви. А Рустам — мне.

Ложусь и разглядываю подвеску. Перламутр переливается, будто слеза, оправа тускло блестит, а вместо цепочки — проволока. В том месте, где ракушка скручивается в себя, видны

остатки инкрустации. Мне кажется, я узнаю её даже в темноте, мой осколок счастья. Улыбаюсь и целую кулон. Холодный. Я всегда беру ракушку в небо.

Я никогда не забуду ту весеннюю прогулку, когда любимый подарил мне её. Рустам придумал праздновать мой День Рождения. Он говорил, что раз я не знаю, когда родилась, то могу выбрать любой день для праздника. Рустам предложил отмечать весной, порой, когда сквозь серые тучи иногда пробивается солнце. Солнце, которое всегда живёт в моих волосах.

Это был мой первый День Рождения, и Рустам разбудил меня рано. Он накрыл праздничный стол, со свечами. Не представляю, как Рустам добыл такие сокровища — свечи, чистую воду и настоящий хлеб. Это было чудо. И за занавеской светило настоящее солнце.

Потом мы пошли гулять. Мы шли между развалин, и солнечные лучи освещали серые останки города, делая его золотым. И даже ветер был лёгким и свежим, опьяняющим...

Я закрываю глаза и чувствую тот далёкий пьянящий ветер и тёплые солнечные лучи. Солнце щекочет мою кожу и целует меня его губами.

Зелёная сочная трава простирается до самого горизонта. На лазурном небе — кучерявые облака, будто сахарная вата. Небо отражается в голубой реке. Её сверкающая лента упирается в горизонт и переливается в небо, словно краска из тюбика. Недалеко от реки — берёзовая рощица, за ней, как помню, деревня. Спускаюсь с холма. Под ногами — белые цветочки. Их головки робко дрожат на ветру. Срываю один — жёлтая сердцевинка и белые лепестки. Солнышко. Маленькое земное солнышко. Кажется, их называют ромашками. Улыбаюсь, иду вдоль реки и думаю о малиновом мороженом. И о занавеске с ромашками.

Молодые берёзы встречают меня лёгким шелестом. Сквозь пронзительно-зелёные листья пробиваются солнечные лучи. Они похожи на лёгкий тюль, что развевается на ветру. Или на северное сияние. Чудится мне, что лучи звенят, нежно и солнечно. Я иду сквозь молодую рощу, и странное, давящее чувство разбивает моё хрустальное утро. Будто ничего этого нет. Сейчас нет. Наверное, всё это — было. Или будет. Наклоняюсь и поднимаю слишком рано опавший лист. Он уже подсох и стал шершавым, но он настоящий. Помню, однажды в парке с сухими пнями я нашла иссохший лист. Он был прозрачный и похож на паутинку. Рустам назвал его скелетом. Я долго хранила его, ведь это был самый настоящий листик, просто мёртвый.

Иду по деревне. Белоснежные натянутые тенты временных построек похожи на ханские шатры. Ветряные мельницы ровным строем стоят за поселением, словно гигантский забор. Или большие трёхлистные ромашки.

Ни души. Лишь свежий ветер гуляет меж белых палаток. И солнечные зайчики. Невыразимая тоска. Кажется, я о чём-то забыла. Забыла о чём-то очень важном. Рядом со мной — Виктор. Он кладёт руку на моё плечо, и мне становится легче. С ним мне всегда легче, он любит меня. А я его, наверное, нет. Я не гуляла с ним под звёздами. Хотя... Может, я его тоже люблю. Ведь мне с ним спокойно и тепло, как среди солнечных лучей берёзовой рощи. Виктор просит прочитать ему стихотворение. Я читаю, про хана. Он удивляется: откуда я знаю это произведение? Ведь его нет в Единой Библиотеке. Пожимаю плечами: придумала. Виктор удивляется ещё больше. Он говорит, что я — гений. Я смеюсь, и он обнимает меня.

Мы идём под звёздами. Сверкающая лента Млечного Пути пересекает небосвод. Пока не взошла Луна, можно любоваться. Звёзды похожи на рассыпанные драгоценные камни: алмазы на чёрном бархате. Ночь прекрасна и свежа, но по-летнему. Стрекотание цикад разливается по воздуху, от чего кажется мне, что эфир будто дрожит от их пения. Мы идём к нашему дому — крайнему белому шатру, окружённому молодыми тополями. Издалека деревня похожа на стайку светлячков или на упавшие звёзды: белые домики светятся теплом. Виктор держит меня за руку и рассказывает о том, как же хорошо. Только я не чувствую. Я уже давно ничего не чувствую кроме всепоглощающей тоски. Я молча киваю и смотрю на звёзды. Мне, наверное, уже не будет хорошо. Хорошо мне было на кухоньке с занавесками в ромашку. И в храме, где

пели ангелы. Это воспоминание из другой жизни, такой далёкой, до сих пор мучает меня. И образ человека, которого давно поглотило время, всё ещё со мной.

Чем ближе мы подходим к деревне, тем ярче светятся домики. Свет всё разгорается, разгорается, разгорается... превращается в зарево, полыхает. Языки бушующего пламени вздымаются до небес, ревут. Виктор пытается меня спасти, но я сама ступаю в огонь. И чудится мне, что среди языков пламени я вижу ромашки. Огненные цветы распускаются, цветут, благоухают...

Я кричу от боли и открываю глаза. Играет будильник: Вивальди, «Времена года», «Весна». Нежные берёзы в окне-экране беззвучно шелестят на ветру. Смахиваю со лба пот, перевожу взгляд на белый потолок. Слёзы сами катятся из глаз. Наверное, я схожу с ума. Наверное, мы все сходим с ума.

Медленно сажусь. Ракушка падает на пол. Я смотрю на кулон, и тянущая грусть овладевает мною, она не хочет меня отпускать. Злюсь и убираю подарок Рустама в тумбочку. *Я простила тебя за то, что ты не можешь покинуть меня. Я больше не потревожу твой покой. Обещаю... Но... Я обещала хранить ракушку до самой смерти. Я обещала любить тебя вечно. И я люблю тебя, всё ещё люблю тебя, несмотря на то, что я даже не помню твоего лица. Такое у меня проклятие. Прости меня. Прости… Ты будешь со мной в небе? Прости меня за слабость... я просто очень боюсь умереть без тебя. Мне кажется, что небо непременно погубит меня.*

Закрываю глаза руками. Я устала, смертельно устала. Я не помню своих снов, кроме пожаров, которыми они заканчиваются. Но мне кажется, было что-то *до*. Было нечто прекрасное до того, как всё поглотил огонь. Например, стихи.

Одеваюсь, и свет в каюте становится ярче. Умный компьютер понял, что я проснулась. Я не хочу больше думать и просто натягиваю серую водолазку, серые штаны и серую куртку. Чистые вещи пахнут ромашками. Какой необычный порошок. И откуда я знаю, как пахнут ромашки?

Иду на ужин вместе со всеми. Кто-то смеётся, со мной здороваются и улыбаются. Я в ответ тоже. Мы делаем вид, будто всё нормально. Наверное, так раньше снимали кино.

Столовая — просторная и светлая. Белая, как и всё в нашем подземном царстве. За огромными окнами-экранами над безбрежной зеленью светит золотое солнце. Мне кажется, там не хватает реки и берёзовой рощи. Надо бы обратиться к компьютерным техникам, чтобы они поменяли заставку.

Иду к столу у окна. Мы всегда кушаем за ним. Виктор уже взял еду и ждёт меня: улыбается. Он знает, что я люблю: малиновый джем. Белковая каша, отвратительное безвкусное месиво, одна для всех. Подливки разные. Я люблю красную, которую называют малиновой. Думаю, к вкусу малины она не имеет никакого отношения. Виктор любит зеленую, мяту. Иногда я её тоже ем.

Виктор встаёт, галантно отодвигает стул, помогает мне сесть. Затем садится сам и поднимает стакан с водой. Чокаемся. Наш маленький смешной ритуал, который мы подсмотрели в фильмах. Едим. Виктор спрашивает о моём самочувствии, а затем говорит, что, как и обещал, подал прошение о семейной каюте. Я улыбаюсь, а внутри тайно прошу Вселенную и Бога, чтобы нам отказали. Хотя, я знаю, разрешат. У нас обоих много наград, и мы уже столько лет летаем вместе. Я — пилот, а он — стрелок. Не представляю небо без него. Как и не представляю свои воспоминания без Рустама, хотя давно перестала его искать. После разговора с Киотой много лет назад. Но всё ещё надеюсь встретить. Верю, что случится чудо, и я увижу его. Только вот что я ему теперь скажу? Как посмотрю в глаза? Хотя, может, у него теперь другая женщина. От этой мысли внутри всё переворачивается. Чувствую, у меня не хватит духу даже подойти.

Я говорю Виктору, что очень хочу, чтобы нам разрешили жить вместе. Он улыбается и предлагает за это выпить. Я смеюсь, и мы снова чокаемся. Я пью и тайно, глубоко в душе, плачу.

К нам подходит Алия — высокая девушка с озорными карими глазами и оливковой кожей. Ей не больше двадцати, и она родилась на ковчеге. Она знает своих родителей, у неё есть брат и она умеет улыбаться. Лысая, как и большинство. Её череп украшен множеством синих завитков. Помню, она очень боялась делать татуировку. В одном ухе — несколько колечек, в другом — маленький гвоздик. Она чем-то напоминает людей прошлого, которых я видела в фильмах и в документальных видеоархивах Библиотеки. Алия живёт, в то время как я продолжаю выживать. Она тоже будет пилотом, завтра её отправят тренироваться на симуляторах. Она очень волнуется.

Сейчас Алия улыбается нам и говорит, что вечером, после речи Президента, для всех будут показывать кино. Она хочет пойти с семьёй, у брата — День Рождения, и зовёт нас. Мы соглашаемся, Алия садится за наш столик и с волнением рассказывает, что её брата определили пилотом боевого робота. Говорит, нейронные связи у него крепкие, будет управлять роботом в наземных боях. Завтра он уезжает тоже, только на другой ковчег. Через полгода оба выйдут на свои первые настоящие бои. Виктор желает им обоим успехов.

Алии страшно за брата, больше чем за себя. Ещё больше она переживает за родителей. Я её понимаю — она боится за своё человеческое счастье. Ведь у неё есть родные, есть, кого терять. А у меня никого нет. Наверное, поэтому я не умею жить. Нет. У меня есть Виктор. И где-то, совсем далеко, Рустам. Я очень надеюсь, что он всё ещё есть.

После ужина столовую превращают в зрительный зал: будет прямая трансляция речи Президента. У нас есть час свободного времени — неслыханная редкость. Мы идём гулять по ковчегу. Я с трудом отгоняю мысли о прогулках под звёздами. Вместо этого с интересом внимаю Мустафе, брату Алии. Ему пятнадцать, и он очень гордится тем, что для него уже определили место в войсках. Хотя я знаю, ему очень, очень страшно. Слушая мальчика, думаю, что у нас есть шанс выжить. Поведение иных загадочно, они могли уничтожить нас всех давно. Однако они всё ещё ведут свою странную игру. Что бы там ни замышлял высший разум, низший, если соберёт все свои силы, сможет дать отпор. Наверное, ангелы рождаются во тьме, а демоны приходят к нам из рая. Удивляюсь своим мыслям.

Мы выходим на одну из центральных площадей ковчега. Серые солдаты идут меж серых танков. Монументальные бронированные роботы в несколько этажей и стрелковые орудия. Я знаю, что на самом верхнем ярусе ждут своего часа истребители. Тревогу могут объявить в любую минуту. Тогда крыша ковчега раскроется, подобно цветку, и смертоносные сверхзвуковые машины взмоют в небо. В одной из них будем я и Виктор. За шестьдесят лет оккупации планеты люди многое переняли у иных: технологии, средства связи и даже механизм антигравитации для длительных космических полётов. Я помню это из загрузок. Но главная загадка иных — использование тел людей для перемещения по планете — так и осталась нераскрытой.

Мы идём среди леса военной техники, а я думаю о берёзах. Интересно, каково это — гулять в настоящем лесу? Когда дует ветер, а не кондиционер, и светит настоящее солнце. Какая малина на вкус? Ведь я так люблю малиновый джем. И как пахнут ромашки... Почему-то мне кажется, что на нашей занавеске были именно ромашки.

К нам подходят Джек, физик, и Ли, историк-аналитик. Оба приветственно машут нам руками. Мы улыбаемся в ответ. Ли говорит Виктору, что в Единой Библиотеке нет моих стихов. Да и сам он никогда не слышал подобного, а память у него хорошая, почти восемьдесят процентов загрузок помнит. Джек тут же добавляет, что у него — восемьдесят три. Мы смеёмся. Алия спрашивает, что за стихи. Виктор просит меня прочитать. Читаю два четверостишия на русском. До этого мы общались на английском. Я плохо перевожу. Если знаю текст на одном языке, на другом могу лишь передать его смысл. Для стихов это неуместно.

На какое-то время мы замолкаем. Каждый думает о своём. К нам подходят родители Алии и Мустафы, Фарух и Лизавета. Оба — биофизики, занимаются разработкой биологического оружия против иных. Они были одними из первых поселенцев второго поколения ковче-

гов, принимали участие в создании универсальной биологической пищи. Вроде, это Лиза придумала сдабривать белковые каши углеводистым джемом. И Фарух, и Лиза попали под землю совсем молодыми, как и я когда-то, но, в отличие от меня, о войне знают лишь по экранам мониторов. Сканирование определило их в теоретические науки, в то время как из меня за пару лет сделали военную. Они пытаются улыбаться, но боль обоих я вижу сразу: их детей забирают на тренировки на симуляторах, а это значит, что совсем скоро Алия и Мустафа попадут на фронт. Я бы не пережила такого. Вижу, что Лиза заплаканная. У Мустафы сегодня день рождения. Хорошо, что я не могу иметь детей. Я бы не хотела оказаться на месте Лизы, это очень жестоко. Когда постоянно воюешь, к этому привыкаешь. Как бы страшно это не звучало. Самый ужас только перед боем, когда зовёт сирена. Тогда кровь стынет в жилах. Когда разум сливается с машиной, адреналин зашкаливает. Но стоит оказаться в гуще событий, как сознание очищается, и страх остаётся где-то далеко. Только ты и твои действия. Они должны быть безупречными. Так работает инстинкт самосохранения: страх побеждается движением. О том, что ты чуть не погиб, понимаешь только тогда, когда всё кончилось. И вот тогда накрывает вторая волна страха, и накрывает с головой. Ты спускаешься в свою каюту и ревёшь, ревёшь, ревёшь... Пока не остаётся слез. Потом засыпаешь. А потом всё повторяется. Снова и снова. Годами. Друзья гибнут, и ты снова плачешь. Я слышала, что наступает момент, когда слёз не остаётся. У меня пока такой не наступил. Значит, я ещё человек. Хотя, порой мне кажется, что я давно умерла. Ещё тогда, когда меня завербовали. С каждым годом я всё чаще думаю о том, что настоящая жизнь была там, наверху. В разрушенном городе без водопровода, на кухоньке с истлевшей занавеской в ромашку. Там я была счастлива.

Бархатный голос системы объявляет, что трансляция обращения Президента начнётся через пятнадцать минут. После завершения международного заседания будет показан художественный фильм. Мы все вместе идём обратно. Общаемся, играем в радость. По-настоящему улыбаются только Ли и Джек: они всё ещё решают, кто лучше помнит содержание загрузок. Я им завидую: оба молодые учёные, родились на ковчеге, родители обоих — тоже теоретики. Дружат семьями и ходят друг к другу в гости в семейные каюты. У них всё почти как в старые времена. Алия и Мустафа стараются веселить своих родителей, только ребята не умеют врать. Они улыбаются искренне, им это доступно, но сквозь их улыбки уже виден страх.

Виктор берёт меня под руку и тихо шепчет, чтобы я не переживала. Он видит меня насквозь. Порой мне кажется, что он умеет читать мысли. В такие мгновения мне стыдно перед ним за то, что у меня ещё слишком много мыслей о Рустаме и так мало о нём самом. Хотя, без Виктора я не представляю небо. А без неба я уже не мыслю себя. Так что, наверное, Виктора я тоже люблю. Иначе, без душевного надрыва, но люблю.

Столовую уже превратили в зрительный зал: стулья поставили ровными рядами вокруг большого голографа в центре. На окнах-экранах тоже будет вестись трансляция: видно должно быть всем. Занимаем места рядом. Пока ждём начала, общаемся. Джек рассказывает о новом проекте системы терраформирования. Он, как физик, принимает участие в проектировании сети терраформеров. Говорит, что главными архитекторами будут Жерар Лирье и Иван Диваев, их проект почти утверждён. Сейчас идёт доработка проекта подводного ковчега — будущего центра терраформирования. Преимущества такого ковчега в более надежной защите от иных, вода для них губительна, а также в технологии опреснения: не нужно бурить скважины для добычи воды. Я слушаю и вновь думаю о том, что шанс выжить у нас, всё же, есть.

Свободных мест не остаётся, на экранах и голографе появляются часы, отмеряющие минуты до начала трансляции. Часы. Уже больше десяти лет я измеряю свою жизнь секундами, минутами, часами. У нас в городе часов не было. Точнее были, только одни, на площади. Солнечные. На их столбе делались ежедневные зарубки. Когда год заканчивался, столб меняли, а старый ставили рядом. Так мы следили за временем. Только наше время было более масштабное, чем на ковчегах. День мы делили на утро, день и вечер. Жизнь мерили днями, месяцами

и годами. Редко кто ходил на площадь, чтобы узнать сколько времени. Да и понятия у нас такого особо не было — время. Вот когда двенадцать месяцев проходило, тогда да, радовались тому, что выжили. Радовались тому, что ещё один год прошёл без бомбёжек иных. Праздник устраивали самый настоящий: зажигали факелы, танцевали и даже пели. В Новый Год выбирали Часового — того, кто в следующем году будет следить за временем и делать зарубки на часах. Должность была почётная. Один раз она досталась Рустаму. Я тогда им очень гордилась. Если же совершался на город налёт, в такой год мы поминали погибших. Верований мы были разных, но все сходились в одном — дальше, за горизонтом, непременно что-то есть. Иначе нет в происходящем смысла.

Часы на голографе отмеряют секунды, свет меркнет, и мягкий голос просит соблюдать тишину. Начинается прямая трансляция. Мы видим красивый зал с хромированными трибунами. Зал ярко освещает множество ламп навесного потолка. Стены обиты чёрными глянцевыми панелями. Я там однажды была, это Вавилон, один из самых укреплённых ковчегов. Резиденция Президента.

Громкий мужской голос представляет Президента — поднявшегося на трибуну пожилого человека. Президент стар и сух, он чем-то напоминает хищную птицу, коршуна. Камера подвигается ближе к его лицу, читает его ясный взгляд. Пронзительные глаза, окружённые глубокими морщинами, смотрят в самую душу. Он рождён *до.* Мы все встаём. Президент поднимает руку, и мы садимся. За Президентом — большой экран. Он озаряет его контрсветом, отчего мне кажется, что над мужчиной нимб.

— Граждане ковчегов! Сегодня самый тяжёлый день в истории нашей цивилизации, — низкий старческий голос Президента чёток. — День, когда шестьдесят лет назад жизнь на планете изменилась навсегда, — на экране, за спиной Президента, включается видео: первые снимки искалеченных городов, кадры видеозаписей ужасных событий прошлого. — В отличие от многих присутствующих здесь, я был свидетелем разрушения нашего мира, — Президент выдерживает паузу, давая нам всем осознать, через что ему пришлось пройти. Мне становится страшно. — Я помню то время, когда человечество воевало само с собой, несмотря на то, что тогда я был слишком юн, — продолжает Президент. — Сейчас это кажется глупым и нелепым, но, к сожалению, в истории такое время было. Со времён Античности до Эпохи Вторжения враг у человека был один — он сам. Сплочённые перед лицом общего врага, мы стали забывать свою историю. Но именно сейчас она важна как никогда. Свои грехи нельзя предавать забвению. 1914 — 1918 год — Первая Мировая Война, — на экране за Президентом возникают чёрно-белые снимки Великой Войны. Солдаты, стреляющие из окопов, первые танки — бронированные машины смерти, разрушенные города. В зале воцаряется гробовая тишина. Я и сама чуть дышу. Немое видео марширующих войск, отправляющихся убивать своих братьев. Святые отцы, благословляющие на братоубийство. Взрывающиеся снаряды. И горы тел. Израненных, искалеченных... Горящие дома, бредущие беженцы. И снова тела, сваленные в братские могилы. Кажется, я плачу. — Никогда не забывайте, на что мы были способны, — словно нож режет тишину голос Президента. Многие невольно вздрагивают. — 1939 — 1945 год, — продолжает Президент, а я вытираю слёзы. — Вторая Мировая Война, — на экране то же зловещее дыхание смерти: бомбы, обстрелы, тела. Концентрационные лагеря: идущие в строю узники, идущие на смерть. Мой взгляд невольно останавливается на измождённом мужчине с номером на груди 12471. Я помню из загрузок, что вместо имён в лагерях смерти давали номера. Мужчина, как и все, прижимает к груди жестяную кружку. На секунду его взгляд обращается в камеру, и чудится мне, будто он смотрит на меня, по-настоящему смотрит, смотрит мне в глаза сквозь пространство и время. От его пронизывающего взгляда меня охватывает паника, мне даже кажется, будто я его знаю. Точно знаю… Но кадр меняется, и странное чувство покидает меня. Я смотрю, как бегут солдаты в документальном кино, и вновь слышу голос Президента: — И самая долгая в истории человечества — Третья Мировая

Война, — говорит Президент. — Вы знаете, что лишь в Эпоху Вторжения, крупнейшее противостояние в истории человечества было признано Третьей Мировой Войной, — экран продолжает шокировать кадрами высокотехнологичных военных пыток. Созданные в лабораториях вирусы уничтожают миллионы. Подрывают мирные города. Хорошо, что в загрузках истории всё это вырезано цензурой. — Открытый конфликт сдерживала лишь военная мощь противников. Ядерная и водородная бомбы, биологическое и климатическое оружие. Наш ум создал всё это для того, чтобы бороться с себе подобными. И только когда прибыл настоящий враг, мы смогли понять, что творили. Лишь перед лицом врага человечество, наконец, осознало, что все мы, все, живущие на этой планете, все мы — люди. Мы не враги друг другу. У нас общий дом. Другого никогда не будет.

Президент продолжает говорить, а я невольно сжимаю руку Виктора. Он обнимает меня, а я думаю о Президенте. Думаю о таких, как он, рождённых *до*. Думаю о тех людях, у которых вместо имён были номера. Мне становится страшно. Нам, рождённым *после*, наверное, легче. Мы не знали другого мира, в нашей жестокой реальности всё плохо, ужасно, но, мне кажется, более честно. Более понятно. Мне очень хочется верить в это. И я верю. Верю и смотрю на голограмму Президента и думаю о том, как живётся им, людям из другого мира. Их уже почти не осталось. Когда они все уйдут, кто будет напоминать нам о наших ошибках? Кто будет живым свидетелем? Если мы победим иных, сколько на Земле продержится мир?

Президент замолкает, по залу разливается волна аплодисментов. Мы аплодируем стоя. Президент сажает нас велением руки. Я замечаю, что она трясётся. Ему тяжело. Больше, чем нам всем. Он говорит, что иные забрали всю его семью — в Первый День Вторжения. Ему чудом удалось спастись. Он говорит, а я думаю о том, помнит ли он маму? Папу? Почему я забыла лицо Рустама? Родителей своих я не знаю. В воспоминаниях — лишь цыганский табор, с которым я пришла в северный город. Мне тогда было года четыре, наверное. Меня воспитывала большая, тучная цыганка. Я её звала маманькой, как и остальные цыганята. Она говорила, что подобрала меня в разбитом селении. Я не понимала её, пока не пережила свою первую бомбёжку. Тогда я была совсем крохой, но помню всё до сих пор. Помню крики до рези в ушах, утробный гул истребителей и пожар. Всепоглощающий, неумолимый огонь. Помню резкий запах топлива и тошнотворный — горящей плоти. Помню смертоносные белые лучи, которые, кажется, испепеляли людей. Мы с маманькой чудом спаслись, спрятавшись в овраге. Затем примкнули к другому табору, который шёл в город. Я после этого год не разговаривала. Из-за своей немоты я и потерялась в городе. Отстала от табора, забилась в угол, беззвучно уливалась слезами. Меня нашёл чернокожий старик с голубыми глазами. Он всё пытался узнать, откуда я, только я не говорила. Мне казалось, что если я издам хоть звук, то *они* мой голос непременно услышат и нападут на город. Дедушка назвался Каримом и забрал меня. Меня он нарёк Кирой. Он привёл меня на кухоньку с занавеской в ромашку. Через семь лет его не стало, я плакала — я успела полюбить этого доброго спокойного человека, который молвил мне о звёздах. Когда дедушка ушёл к звёздам, я вновь осталась одна. Но к тому времени я уже сама могла прокормить себя. А через пять лет в моей жизни появился Рустам. Почему я не помню его лица?

Президент завершает свою речь, и мы встаём. Аплодируем, садимся. Президент переходит к диалогу с присутствующими. В Вавилоне собралось много руководителей всех постов: от генералов до резидентов ковчегов. Начинается обсуждение дальнейших действий, проектов, предложений. Президент любезно со всеми говорит, даже иногда улыбается. У него великая сила духа.

Когда прозвучал ответ на последний вопрос, Президент благодарит всех, желает всем быть сильными, бороться за свой дом до победы. Да, мы обязательно победим. Мы построим лучший мир во Вселенной. А пока мы встаём и аплодируем. Президент покидает трибуну, изображение на голографе меркнет. Включается свет, и система объявляет перерыв в пятнадцать минут. Мы остаёмся в зале, ведь мы обещали Алии посмотреть вместе с её семьёй

кино. Джек и Ли покидают свои места, прощаются. Фарух говорит, что очень гордится своими детьми. Он говорит, что я — пример настоящего солдата: летаю больше десяти лет. Но я понимаю, что он имеет ввиду на самом деле. Пилоты истребителей обычно долго не живут, как и пилоты боевых роботов.

Начинается кино. Порой, я удивляюсь тому, как людям удалось сохранить столько осколков прошлой жизни: фильмы, фотографии, книги. Единая Библиотека — невозможное чудо. Думаю о тех, кто жертвовал своими жизнями ради памяти. А такие, не сомневаюсь, были. Тем временем на голографе и экранах — безбрежные горы. Их вершины белые, а основание утопает в зелени; мне кажется, что я чувствую их свежее дыхание. И пронзительный запах реликтовых сосен. Он даже немного щекочет. Удивительно. Откуда я всё это знаю? Словно отголоски того, разбитого мира, которые я иногда встречаю, мне до боли знакомы. До пронзительной, неистовой боли. Наверное, я всё принимаю слишком близко к сердцу, как говорит Виктор.

Кино заканчивается, и мы прощаемся. Прощаемся так, как будто всё нормально. Порой, если хорошо притворяться, то так оно и получается.

Виктор приглашает меня к себе. Запрещено, конечно, это грубое нарушение устава. Но мы уже столько раз его нарушали — летаем-то больше десяти лет. Нам можно. Ведь скоро у нас будет общая каюта. Я соглашаюсь, и мы идём, взявшись за руки. Не хватает только звёзд.

2.

Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных.
Гл. 20:16.
Библия. Новый Завет.

Конец XIX века.

Ветер — дыхание Господне. Ветер всегда нисходит сверху, нисходит по-разному. Он может быть ледяным. Зимний ветер, лютый, который клянут в народе, на деле есть ветер очищающий. Если дух закалён, для плоти таков ветер не страшен. Летний ветер — мягок и покладист. Бывают и летом бури, но они поют иначе зимних. Зимние бури длительны и грустны. Они молвят о тоске и увядании. Их глас протяжен и печален. Летние же гремят так, что отзываются в груди. В такие дни я припадаю к земле от благоговения перед мощью Его, но земля, как и я, дрожит.

Сейчас ветер мягко касается моего чела, поднимает волосы. Более всего люблю такой ветер. Я называю его Шёпот Господень. Он благоухает свободой и чистотой небесной, на земле неведомой. Он приносит многие звуки, и я слушаю его. И он рассказывает мне о мире Божьем. Говорит со мной с Его позволения. Великий дар. Спасибо, Господи.

Мои ноги, обёрнутые в шершавые ходоки, ступают по тёплой земле, а я внимаю ветру. И с дуновением я слышу лёгкий шёпот, шёпот такой явственный, как будто тишина, только немногим слышнее. Останавливаюсь и сильнее обхватываю руками тёплое дерево ходовой палки. Левой рукой встречаюсь с правой. Пальцами провожу по тыльной стороне ладони: она сделалась совсем сухая. Будто старое, но ещё живое древо. Улыбаюсь. Спасибо, Господи, за долгую жизнь мою. Перевожу руку выше, к самому навершию. Оно тоже сухое и жёсткое, карябает. Если руку опустить ниже, тогда древко сделается мягким и гладким. Но я оставляю одну руку на навершии, опираюсь на локоть и слушаю ветер. Его глас вмещает в себя все голоса мира. Весь мир поёт мне, и зрячим не услышать сию Господню песню. Спасибо, Господи, за дар Твой.

Ветер нынче прохладный, но не такой, как в начале летней поры. В начале, перед тем как воздух сделается душным и наполнится нескончаемым звоном, порой весенней, воздух пропитан свежестью. В холоде весны — чистота и чувство воскресения. Первые ветра осени пронизаны нетяжкой, но грустью. И как только вослышу я грусть среди лета, так знаю: бли-

зится зима. И во всякий год Господь по-разному заведует природой. Бывает, долго не начинает пахнуть осенью. В такие года холода внезапны и губительны для урожая. А бывает, уже в сердцевине лета запахнет тоской. Такие времена дождливы, но более благостны. И нынче чую я осень. Шелест травы сделался суше. Весной травы почти не слышно, а дерева легонько совсем говорят. Летом их песнь наполняется, становится громче. Но осеннею порою песнь леса делается как бы выше по звуку. Нынче слышу я, как шёпот дерев стал выше, чем на прошлой седмице. Значит, прав я, осень скоро наступит. Хотя зрячие, у которых я жил последнее время, говорили, что лето — в самом его владении. Как же они слепы, Господи.

Зрячие восклицают, когда видят меня. Им неведомо, как живу я в странствиях. Моё же бытие просто. Я не видел никогда глазами, но сие не значит, что я не вижу Божий Мир. Я чувствую его. Я слышу Его. Я вижу Его не глазами, но сердцем.

Мои ступни чувствуют землю: её тепло, твёрдость. Носом чую аромат её. Эти качества везде различны, как и биение её сердца: земля живёт, её сердце везде чувствовать можно. Но существуют места, где биение особенно слышно. В таких местах я молюсь.

Я слышу дорогу: над плотной землёй всегда просторнее воздуху. И дорога чувствуется мне так же явно, как зрячим видится. Я слышу лес задолго до того, как зрячие начинают его видеть. Много раз, когда я странствовал со зрячими, я говорил им о лесе, а они убеждали меня в том, что впереди — лишь чисто поле. Потом они удивлялись: как я узнал? Я отвечал, Господь ведь со всеми говорит: ветром, теплом, ароматом. Но зрячие смеялись надо мной, не верили. Молвили — юродивый старик.

Я слышу лес, он шепчет. Ветер приносит его чистоту, непривычную смрадным поселениям. Поэтому я странствую. В городах и деревнях столько шума, столько запахов, что за ними не учуять мира Божьего. Я так жить не могу. Всегда удивляюсь, как они так живут?

Останавливался последний раз у крестьян одних, хорошая семья. Богу молятся, работают. Не без грехов, но где это видано, чтобы человек в святости жил? Их дом пах ладаном, вот и постучал к ним. Ко мне вышла девушка: я узнал об этом по лёгкости шагов и шелесту одежды. Мне почудилось, будто я даже увидел её. Только иначе, не как обычно. Иногда бывают у меня видения, посылаемые Господом. И в этих видениях я вижу. Наверное, вижу, ведь я никогда не видел мира. Когда девушка вышла ко мне, я увидел её. Она была окружена жаром, который выходил из-под пальцев её рук. И в этом самом жаре мир воскресал. Я подивился явленному, но смолчал. Девушка пустила меня в дом, она оказалась старшей дочерью в семье. Но через пару седмиц я вновь увидел её. Только теперь она шла по большой дороге, вместе с другими людьми. Они шли, будто среди облаков. Наверное, среди облаков.

Когда я был маленьким, мама рассказывала мне о мире. Более всего меня удивляли рассказы о небе. Тогда я ещё не мог чувствовать так явно, как сейчас, и просил маму больше поведать про облака. Мама отвела меня к мешку с пухом и опустила в него мою руку. Я помню, как мамины огрубевшие от работы пальцы опустили мою ладонь в мягкое ничто. Тогда я подумал, что пух очень похож на воздух, только на воздух сбитый. Тёплая грубая ладонь, мягкий щекочущий пух и запах свежего хлеба. От маминых рук всегда пахло хлебом. Хлебом, уютом и любовью. Искренней, наболевшей любовью. Я слышал, мама часто плакала из-за моего недуга. Ей многие советовали отдать меня: чего с ним возиться, долго всё равно не протянет, ещё пять ртов кормить. Но мама никого не слушала, она просто плакала... Как же я люблю её, Господи. По сей день в душе своей я слышу её нежный, как пух, голос и чувствую её грубые горячие руки.

И сказки. Каждый вечер мама рассказывала мне сказки. Её тёплая рука гладила меня по голове, и мягкий голос молвил о чудесах. Я спрашивал матушку, зажгла ли она лучину, ведь я боялся холода темноты. Мама подносила огонь ближе, я чувствовал его тепло, и мне делалось спокойнее. Со мной была мама, запах хлеба и тепло. Я благодарил Господа и слушал самый родной голос на всем Божьем свете.

Вновь перехватываю ходовую палку, опираюсь на другой локоть. Ветер с грустью гладит меня по голове. Ещё немного постою и продолжу путь. Видение. Да. Я же размышлял о видении, которое посетило меня у крестьян, у которых я гостил. Мне чудилось, что крестьянская дочка шла среди мягкого, едва ощутимого пуха, который стелился по краям широкой дороги. А внизу мир бушевал. Не могу явно сказать, что там было внизу, ибо таких видений ранее не видывал. Зато слыхивал, как зрячие описывают ад. Описывают так, будто сами там бывали. То, что было под дорогой, очень походило на молву видящих. Но те, кто шли по дороге, будто не замечали того, что делалось под ними. Я тогда не удержался и рассказал крестьянской дочке о своём видении. Она долго молчала, а потом поведала о своих снах. По секрету, боялась, что другие её за ведьму примут. По её голосу я понял, что она напугана очень. Она говорила, что во снах часто видит явления странные: города из стекла и картины. Она мне рассказала, что такое картины, и что их пишут художники. Правда, я так и не смог себе этого представить. Она шептала, что во сне видела себя в стеклянном городе, охваченным огнём. «Я в ад попаду, да, дедушка?» — спрашивала она тихо, едва плача. Я гладил её по мягким волосам и говорил, что нет. Говорил, что огонь не всегда означает ад. Истинный смысл огня — очищение.

Очищение, да. Порой задумывался я, что миру очищение очень надобно. С каждым годом запахи становятся всё более смрадными, голоса — более громкими. Придёт век, когда грянет такой шум, что отдельного голоса не различить будет. И в тот век придёт очищение. Очищение огнём, ведь омовение водой Потопа не смогло смыть грязь мирскую. Спасибо Господи за то, что к тому веку меня уже не будет. Буду я в Твоём чертоге. А уж в Аду, или в Раю — решать Тебе. На всё Твоя воля.

Зимовал я как-то в студёной северной деревне, вокруг которой шумели сосны. Я пришёл в деревню ещё летом, но даже тёплую порою воздух того селения был особенно свеж. Эта чистота мне пришлась по нраву, и я остановился там. В той деревне была церква, батюшка которой приютил меня и разрешил мести пол. Прихожане удивлялись, как я могу мести пол при таком недуге? Спрашивали меня, кто работу такую поручил. Да никто не поручал мне работы, я сам её спросил. Я ведь слышу всё: слышу пол, над ним воздуху легче; слышу свечи, как они потрескивают, как они говорят, и в этом голосе — все молитвы людские; слышу прихожан, их поступь и их шёпот, а более — их думы. И слушание моё видением становится.

В то время я ещё ходил босым, дабы чувствовать лучше. Нынче могу я чуять и сквозь подошву своих ходоков, но тогда я моложе намного был и не так чувствителен. Звали меня либо Босым либо Слепым, думали не слышу я. Но я не обижаюсь на них, они ведь не ведали о том, что видеть я могу иначе.

В той деревне я повстречал барина одного, который имел душевную слепоту крайней тяжести. Я его почувствовал, когда к церкви шёл. Почувствовал молодого человека, дух которого умирал от собственного бесчувствия и грехов. Он, как и я, отправил себя в изгнание, грехи замаливать. Воздух вокруг барина холоднее студёной зимы был. Причина его бесчувствия была такой глубокой, что мне стало жаль его, и я захотел помочь ему. Долго, правда, я размышлял, с чего начать беседу нашу, ведь его голова была мутной от горя, знакомого и мне. Барин уезжал, когда я подошёл к его повозке. Тогда я огорчился, подумал, что опоздал. Но барин тот решил, что я за деньгами к нему пожаловал. Я хотел сразу воззвать к его душе, поэтому поинтересовался у него, знает ли он, почему я босым хожу? Молодой барин заверил меня, что не знает причины. Его тон был таким ледяным, что я рассмеялся от отчаянья. Я очень жалел, что не подошёл к нему раньше, посему сказал речь полно и кратко. Я ответил барину, что босыми ногами чую землю, а вот он, барин, хоть и здоров глазами, но слепой. Сказал ему так: «Ты ничего не видишь и не чувствуешь. Потому как если бы ты чувствовал, ты бы понял, почему я обуви не ношу. Ты предписал себе наказание, но даже его отбыть боишься ты. Мне жаль тебя, ибо ты свою жизнь даром проживаешь. Даром жизнь проживать — грех самый

великий из самых великих грехов». Но барин не услышал меня, да и я был ещё слишком молод для подобных речей. Барин толкнул меня и уехал. Я ещё долго стоял на той дороге, слушая его удаляющуюся повозку, сострадал его тяжёлой судьбе. Каково ему сейчас, когда столько годов минуло?

Сколько годов скитаюсь я?

Мама, мама...

Мамушка моя родная, прости меня.

Тем летом было мне годов пятнадцать, кажется. Я сидел на скамье у дома, внимал солнечному теплу и слушал птиц да жизнь вокруг. Мои родные были в поле, а я ещё учился видеть мир. Но тогда я чуял совсем плохо и не заметил, как тени подошли ко мне. *Они* были старше, их голоса молвили об этом. Они сказали, чтобы я отвёл их в дом, пока моё семейство не вернулось с полей. От них так дурно пахло, что я едва мог дышать. Все силы свои собрав, себя я превозмог и им ответил, что не пущу их за порог. И попросил уйти. Ответом мне был дикий смех, дикий смех и смрадный. И тут у меня перехватило дух: удар был очень сильным. Я не ведал, как мне быть, и следующий удар повалил меня на землю. Мне сделалось страшно. *Они* смеялись и били меня, даже пыль на зубах ощущалась. А я про себя молитвы читал. Когда боль сделалась невыносимой, я стал просить *их* отпустить меня. Просил именем Господа. Но *они* смеялись надо мной и говорили, что перестанут бить, если отведу их в дом. *Они* возьмут совсем немного. О, Господи, не выдержал я урока Твоего, не понял знамения и струсил! Я отвёл их в дом и сел на лавку в сенях. Я плакал, и сквозь слёзы видел я. Тогда я впервые видел то, что Ты хотел освободить меня, но Тебя я не услышал...

Мама, мама... Матушка моя, зачем в тот день вернулась рано? Зачем взяла с собой сестру... Как же больно, Господи, вспоминать о грехах своих. Как же больно...

Вздыхаю, крепко сжимаю ходовую палку правой рукой и делаю шаг. Плачу. Слёзы, Господи, слёзы мои о матушке. И о сестре. Когда хоронили их, отец сказал мне, что я не виноват. Но я-то знаю, и Господь знает. Я покинул батюшку и братьев, я ушёл искупать свои грехи. Спасибо, Господи, за долгую жизнь мою. Спасибо Тебе, Господи, за страдания. Может быть, нынче Ты позволишь мне матушку в Раю увидеть. Ведь мир Твой откровением мне стал. Откровением...

Иду. Старые кости болят — скрипят, как сухие дерева. К вечеру достигну леса. Чует моё сердце — не переживу сегодняшнюю ночь. Устал ли? Право, не знаю. Как не знаю и то, сколько лет уже хожу по земле. Но чую: Господь зовёт меня. Пора мне в путь. Радуется сердце скорому освобождению, но и грустно ему. Щемит, Господи, сердце моё. Спасибо, Господи, Тебе за чувства, спасибо за страдания. Ибо пока чувствую — живу.

Чудится мне, будто ещё совсем юный я, а рядом со мной матушка идёт. Она держит меня за руку и рассказывает о травах, которые растут в поле. Она берёт мою руку и касается ею нежного цветка, на пух похожего. И чувствуется мне, будто от касания моего цветок разлетается, словно мягкие снежинки с земли поднялись. Мамин голос смеётся, по-доброму и тепло. Мама говорит, что у цветка поспели семена, и ветер их моей ладонью одувает. Она говорит, что каждое существо подобно этому цветку: однажды станет пухом и вознесётся в небеса.

Мои ноги ступают по земле, пока я иду к небесам. И пахнет земля так свежо. Медленно иду, вдыхаю её аромат. Не могу надышаться. И солнцем пахнет. И осенью. И лёгкий ветер, шелестящий, гладит меня по волосам и доносит тихую песнь далёкого леса. Так ангелы поют, ангелы. И песня эта похожа на ту, что слышалась мне давно…

То странствие было очень много лет назад. Завершал я его, идя по дороге, большой, утоптанной: ветру по ней легко гулялось. На той дороге встретил крестьянскую телегу. Она громыхала, как буря небесная, пыль на зубах скрежетала. Хрустящими комочками. Я встал на

сердцевину дороги, и лошадь остановилась. Мужичок со скрипучим, как и его телега, голосом, долго ругался, но потом, всё же, согласился довезти меня до города. Я бы и сам дошёл, но устал больно, да и подаяние кончилось. Крестьянин вновь выругался, но кусок хлеба отломил. Я поблагодарил его и Бога. Мужик всю дорогу неясное молвил, но я не слушал. Тяжёлая у него жизнь, по голосу понял. Он у него такой, резкий, сухой, да смрадный. Болел крестьянин сильно. Хворой довёз меня до города, в котором был храм. Перед тем, как искать ночлег, я отправился благодарить Бога. Но ещё на улице понял, что нынче праздник. Люди шумели, толпились, шли к церкви. Голоса соединялись в гул, который очень пагубно на душу влияет. Их ноги хлюпали в лужах, одежды шелестели. Пахло потом, яствами и ладаном. Ветра почти не было. Мне сделалось дурно. В такие мгновения, когда мир охватывает меня, я перестаю слышать его. И тогда могут прийти видения. Голова моя кружилась, и чудилось мне, будто иду я по деревне, в толпе, но всё вокруг мертво. Иду, опираюсь не на палку, а на костыль. И заваливаюсь на левую ногу. И казалось мне, что тело моё словно мертво наполовину. Как и бытие, что окружает меня. Я не видывал мира, но сердце подсказало — это его руины. Я бы их сравнил с плачем ветра, когда осень уступает зиме. В такое время ветер веет холодом, сыростью и тоской. И меня такая одолела тоска, такое страдание, что, кажется, я заплакал. Но чья-то рука взяла меня под локоть, и мягкий женский голос спросил про моё здравие. Голос был таким родным, словно я всю жизнь его слушал. Но нет, впервые встретил. Она была моложе. Лет, наверное, на десять, может, больше. Она мягко держала меня под локоть, а мне казалось, что меня спас ангел. Ангел спас меня от падения во тьму.

Она назвалась Еленой. Она сказала, что идёт вместе с мужем в храм. Сегодня же великий праздник. Она многое ещё молвила, но я не слушал, что она говорит. Я внимал музыке её голоса, я был готов слушать её голос вечно. Бархатный, мягкий, спокойный. И сильный. Не как у других женщин, нет. В её голосе — глубина глухих вод и бессчётных бурь. Бурь, которые она носила в себе. А затем в мир ворвался уверенный и резкий голос её мужа. Он взял меня под другой локоть и властно пообещал, что поможет мне дойти до храма. И найдёт мне ночлег. Они помогали мне идти, они говорили со мной, а я слушал только её. Её голос лился сквозь вечную тьму, и чудилось мне, что я вижу. Видел я мёртвый город, серый и печальный, как зимний ветер. Над градом летала тоска, беспросветная, как глубокая зима. И чувство такое охватило меня, будто эта самая тоска всю мою душу истерзала, настолько в том городе было худо. И только песня, щемящая сердце, вела меня сквозь печаль. Песня, которую пела она. А я так хотел её увидеть… В её песнь влились голоса ангелов: мы вошли в храм. Голоса окружили меня, наполнили бытие. Но её голос по-прежнему слышался явнее всех и отзывался болью сердечной, болью невыразимой.

Песнопение разливалось по миру, а её голос продолжал держать меня. Я уже мог стоять, силы ко мне вернулись, но она не отпускала меня. В её мягком тёплом касании было столько полноты, столько чувства, что до сего времени я так и не смог найти объяснения её загадке. А тогда я и вовсе не чувствовал себя, не слышал мира. Но вместе с её голосом я видел. Видел…

Резкая боль пронзает тело: я оступился и подвернул ногу. Ох… Я и запамятовал, что иду. Опираюсь на палку обеими руками и выправляю ступню. Чувствую, как палка медленно проваливается в землю. Аккуратно ставлю стопу, пробую ступить на неё. Больно, но идти можно. Спасибо, Господи. Спасибо…

Ветер мягко касается моего чела, поднимает волосы. Шёпот Господень зовёт меня. Он благоухает свободой и чистотой небесной, на земле неведомой… Он приносит многие звуки. И чудится мне, что я вновь слышу её. Слышу голос моего ангела, что летит ко мне сквозь долгие года. Я слушаю его, и по моей щеке катится слеза.

Тогда, в храме, я плакал. Ведь я видел. С Твоего позволения, Господи, видел. Видел, как свет разгоняет тьму, и в его сиянии спускаются с небес ангелы. Ангелы спускались в храмах с куполами, которые светились, будто солнце. Если бы я мог видеть солнце, оно было бы таким.

Ангелы спускались на мёртвую землю, и земля оживала. Бушующее пламя стихало, и земля оживала… Оживала. И мне почудилось тогда, будто Ты, Господи, простил меня. И матушка простила.

Медленно иду. Ступать больно, но терпимо. Трава, чувствую, сделалась меньше. Ветер помогает мне — дует по моему ходу. Спасибо Господи, что заботишься обо мне. Скоро, совсем скоро, приду к тебе. И ответ держать буду. А пока…

А пока вспоминаю. Слава Богу, время ещё есть. Есть время слышать её голос, который будет вечно петь в сердце моём.

Елена и её муж поместили меня в своей усадьбе, в домике для гостей. Заботились. Но то чувство, что всякий раз охватывало меня при её голосе, делало моё бытие невыносимым. Сколько же бессонных ночей я провёл в молитвах Тебе с просьбой разъяснения. Но Ты не ответил мне. Нынче думаю, то чувство было даром Твоим.

Елена и её муж приглашали меня на семейные трапезы. Я, безродный нищий, сидел за одним столом со знатными людьми. Даже крестьяне не удостаивали меня таким вниманием, не окружали такой заботой. Очень добры ко мне были, редко такое нынче встретишь. Удивительные люди. Я поначалу думал, что её муж резок и властен, как его голос, но, оказалось, я ошибался. Он был из той породы людей, которых именуют правильными. Честный человек, надёжный. Право, вот, не помню, как зовут. Может, Рудольф. А может, иначе. Да и как я мог запомнить его имя, если всё время лишь её голос слушал. На каждом завтраке, обеде и ужине. А когда она ко мне приходила поговорить, о странствиях послушать, так мне вообще худо делалось. Она молвила, почему-то почти шептала, что всегда мечтала путешествовать. Но у неё нет такой возможности, как и у всех замужних дам её положения. Сокрушалась очень. А я её успокаивал. Говорил, что нельзя роптать на ниспосланный Господом удел. Тем более на такой удел. Говорил ей, что заместо на её месте каждый мечтал бы оказаться. Даже я. Елену такие речи возмущали до крайности, она сердилась даже. Но так, по-доброму. Однажды призналась, что в церковь только из-за мужа ходит, что все её платья и шелка ей вовсе и не надобны. А надобна свобода. Я тихонько рассмеялся и спросил её, а что это такое? Елена молчала. Свобода, заговорила она, наивысшая ценность. Свобода — это бытие по сердцу, без преврат и ограничений. Свобода — это странствие, это мир. По её голосу понял, что обиделась она. Ведь своё самое сокровенное мне открыла, а я — так, смеюсь. Но я не мог врать. Ей бы радоваться, ведь её бытие легко и свободно на деле. Радоваться да Бога благодарить. Вот я так и ответил. Сказал, что даже я не обладаю свободой. Я полностью во власти Бога и людей. Живу на подаяние, и каждая зима — суровое испытание. Испытание веры и силы духа. Коли никто не приютит меня на зиму, холода, говорил, погубят. Коли не подадут пропитание, дух от голода испущу. Разве я свободен? Долго мы молчали. Потом она робко, так, спрашивала. А кто тогда свободен? Я пожал плечами: никто. Свободных в мире Божьем нет. Она ушла. Вернулась только через несколько дней. Страдал я это время, ох как страдал, Господи. Думал, ранил её наивную душу смертельно, и не простит она меня более. Хотел прийти к ней сам, но как-то неудобно в её покои без позволения являться. Елена пришла сама. Пришла благодарить. Я был поражён до глубины души. Она молвила, что тот наш разговор оказал на неё очень сильное влияние. Она просила прощения за необъяснённое отсутствие: всё это время она размышляла над нашей беседой. С ней никто подобным образом прежде неговорил, даже муж её. В мире, сокрушалась, сие не принято. Вот она и носила все свои томления в себе, на свой удел роптала. А теперь... Елена совсем на шёпот перешла. А теперь, шептала она, кажется, я поняла, что счастлива. И кажется, говорила она совсем откровенно, я даже мужа своего люблю. Без душевного надрыва, не так, как в книгах, но — люблю. Эти слова отозвались в моём сердце какой-то особенной болью. Непроизвольно отозвались. Но я сокрыл это даже от себя самого. Я ответил ей, что такая любовь — самая крепкая и истинная. И этот дар Божий она должна ценить более

остальных. Я услышал, что Елена всхлипнула. Я и сам готов был слабость свою явить, но сил хватило сдержаться. От волнения я рассказал Елене о видениях своих. О том, что однажды грянет такой век, когда шум заглушит слово. Век, когда не будет тишины. *В тот век погибнет мир, погибнет в огне небесном. Воскреснет мир в безмолвии мёртвом, в то время, когда глубокая тишь укроет землю пламенем своим.* Елена слушала меня, и платье её не шелестело. Я подумал, что слова мои напугали её. Но Елена спросила тихо, разве слепые видят сны? Видят, родная, видят, сказал и замер я. Елена тихонько вздохнула и прошептала, что она не против, дабы я её как друга называл. Ведь я ближе всех по духу ей, даже ближе Рудольфа, который слишком сух. Вот, право, лучше бы молчала. Спасибо, Господи, за то, что дал сил сдержаться в чувствах. Спасибо, Господи, спасибо.

Я переждал в их имении зиму, а когда потеплело, решил отправиться в путь. Елена и Рудольф уговаривали меня остаться, а если мне совестно на их попечении жить, работу по хозяйству поручат. Ох, какое великое предложение было. Воистину, милостив Господь. Наверное, Он простил меня. И матушка простила. Но я не мог. Не мог из-за Елены. Совсем моё сердце страдало. Более того, знал я, что она испытывает то же, хотя держалась со мной Елена, не нарушая этикета. Сердце подсказало мне, что, коли останусь я, быть беде. Большой беде, которая разрушит её лёгкое бытие. А её счастье для меня было, да и есть, превыше всего.

Вечером, перед моим уходом, а отправлялся я с рассветом, Елена пришла проститься. Села далеко, в другом краю комнаты. Перед тем, как заговорить, долго гладила парчу своих юбок, волновалась. Ткань мягко так шелестела, а я покорно ждал. Ждал и внимал шелесту её дорогих одежд и тёплому потрескиванию свечей. Прощайте, после долгого молчания прошептала она. Её голос мучал моё сердце, искушал остаться. Спасибо Господи, что дал мне сил выдержать испытание твоё. Прощайте, ответил я. Храни Вас Бог, прекрасная Елена. Далее мы вновь молчали, пока шуршание её платья и скрип двери не возвестили о том, что я её более не услышу. И в этом молчании было столько слов, столько чувства, что, когда она ушла, я не сдержал сердца своего и заплакал. Всю ночь перед уходом я плакал и молился, плакал и молился. А с рассветом я покинул их имение. Покинул навсегда.

Господи, знать бы, что сталось с ней. Обрела ли подлинно счастье, как говорила мне? Надеюсь, что обрела. Наверное, сейчас она сидит у своего камина в окружении прекрасных внуков и рассказывает им сказки. Сказки о странствиях одного калеки, образ которого всю жизнь носит в своём сердце. Наверное, она даже не помнит моего лица. Интересно, помнит ли голос?

Останавливаюсь передохнуть и вытереть слёзы. Там, где они текли, чувствуются холодные дорожки. Руки трясутся. Опираясь на палку, достаю из кармана платок. Лён грубый, шершавый. Ветер сделался сильнее и тоскливее, будто торопит меня. И запах такой холодный у воздуха: день стал убывать. Чувствую ещё солнечные лучи, но они уже не такие явные. Спасибо, Господи, за мой последний день. День, полный воспоминаний и тёплого солнца. Как же хорошо, Господи. Как же хорошо.

Иду медленно. Трава под ногами колючая, скрежещет. Уже сухой сделалась. И запах у неё такой полный, томный, как у сена. Но среди этого запаха можно уловить и сладкий аромат полевых цветов. Цветёт поле ещё, да. Эти цветы редкие, но они есть. Если прислушаться, то можно различить, как они дрожат на ветру. Легонько так, трепещут. И птицы поют, звонко так, но грустно. Провожают меня вместе с солнышком.

Ох... Нога болит, заваливаюсь на ходовую палку. Палка при каждом шаге проваливается в землю, в сухую землю. Давно дождей благодатных не было, ох давно, Господи.

Голос ветра становится полнее, и я прислушиваюсь. Лес шумит совсем уж близко. Песня его — как хор голосов ангелов — слышна отовсюду. Укрывает всё вокруг, словно покрывало. Оно мне, Господи, и надобно, покрывало-то. Покрывало для моей свадьбы с вечностью. Для восхождения в Твой чертог. Во Дворец Нетленный.

Вновь останавливаюсь. Надо попрощаться с миром перед тем, как войти в лес. Ведь уже не выйду обратно. Останавливаюсь и прислушиваюсь к птичьей песне, слушаю солнечный звон. Его свет холодает, я чувствую; но он всё ещё звенит среди голосов птиц и леса. Зрячие сие состояние природы именуют закатом. Закатом... Слушаю стрекотание насекомых. Песнь кузнечиков сливается с песней леса и птиц, и чудится мне, будто я вижу всю эту благодать. Весь мир Божий поёт мне. Поёт песнь прощальную. Чую лёгкое колыхание воздуха: бабочка пролетела. Вот же чудо дивное! Её полет мягок и спокоен. Он волнует воздух легонько, будто щекочет. Настоящее чудо... Зрячие не могут слышать тонкое дрожание воздуха. Они не чувствуют этот лёгкий тюль, которым Господь защитил детей своих. Спасибо Тебе Господи, спасибо...

Я слышу её голос. Её заветное «прощай» провожает меня в последний путь вместе с дрожанием воздуха. Провожает вместе с лесом и полем, провожает молитвой. Провожает меня и матушка. Её тёплая рука держит меня, помогает опуститься на колени.

Припадаю к земле и молюсь. Трава колет руки, пальцы проваливаются в сухую, тёплую, как мамины руки, землю. Мама... Увидимся скоро мы с тобою. Увидимся ли? На всё воля Господня. Если Господь будет милостив ко мне, если простит грехи мои, если в Рай поместит меня, то увижу тебя, родная. Не услышу, а увижу. Спустя столько лет, увижу...

Молюсь. Отпевать меня надобно будет лесу. За сим я путь сюда и держал. Отпоют меня голоса ангелов, отпоют, да помолятся за душу грешную. Дерева чисты и мудры, гуляет среди них Шёпот Господень. Лучшее место для встречи с Тобой и не сыскать. Спасибо, Господи, спасибо.

Ищу на ощупь ходовую палку. Под руками сухая трава и трава мягкая — свежая. Пальцы невольно задерживаются её ощутить. Почувствовать, как по живым ещё стеблям бежит сок благодатный. Совсем нежное диво встречается моей ладони — цветок. Его лепестки тонкие, мягкие, едва ощутимые вокруг круглой сердцевины. Аккуратно касаюсь его, дабы ненароком не повредить. И пахнет цвет удивительно знакомо. Точно. Цветы с запахом таким мама называла ромашками. Матушка говорила мне, что ромашки похожи на солнце. Ромашки, тепло шептала мне мама, это маленькие солнышки. И нынче солнышко такое в руках моих. Чудо. Настоящее чудо. Спасибо, Господи. Опираюсь на ходовую палку и поднимаюсь. Спина болит. Но ничего — совсем чуток осталось. И боль сладка, когда она в последний раз.

Тут налетает ветра порыв: сильный, внезапный, холодный. И гаснет с ним солнца тепло, что ласкало лик мой. Торопит меня Господь, задержался я сильно. Иду я, Господи, иду, матушка моя.

Лес шумит позади, зовёт меня. Оборачиваюсь к нему. Иду, заваливаюсь. Кости, как и дерева от налетевшего ветра, стонут. Да и нога болит. Но сия боль благодатна. Она молвит мне о том, что я живу ещё. И каждый шаг такой — великий дар Господень. Великий Дар.

Чувствую, как воздух сделался выше по запаху да холоднее. Он будто щекочет, наполнен свежестью. И лику моему легко-легко от воздуха лесного. И дышится чу́дно. Давно так полно грудью не дышал. Воздух наполняется хором ангельским, хором шепчущим. Лес. Я дошёл, Господи, дошёл.

Лицо царапают ветви. Но я не ропщу. Я благодарю их за то, что чувствую. Ведь чувствовать — величайшее благо, величайший дар. Дар, что о жизни молвит. Выставляю ходовую палку вперёд, ищу дерево. Через пару шагов она в него упирается с глухим стуком. Вытягиваю во тьму руку, и пальцы касаются шершавого ствола. Подхожу ближе, опускаю палку: она с хрустом падает на сухую траву. Прикладываю к дереву ладони. Древо тёплое, сухое. Как и мои руки. Чувствую, как глубоко бьётся сердце его, и бежит по стволу жизнь. Она бежит, а наружная поверхность дерева — кора его — легонько так дрожит.

Держусь обеими руками за ствол и медленно опускаюсь. Спасибо, Тебе, за опору во тьме. Спасибо. Сажусь на колени перед деревом и снимаю с плеч мешок. Он лёгкий совсем, даже еды, кажется, нет уже. Да и к чему она мне ныне: голод и тот покинул меня. Пора, Господи,

пора. Переворачиваюсь так, дабы спиной опереться о дерево. Оно жёсткое, под стать моему древнему челу.

Делаю вдох, глубокий. Воздух сладкий, пряный. Благодатный. Лучшая смерть из возможных. Спасибо Господи.

Я чувствую, как успокаивается моё сердце. Как расслабляется тело. Как умиротворение наполняет душу.

Спасибо, Господи.

Крылья ангелов шелестят высоко-высоко. Их голоса вместе с ветром венчают меня с вечностью молитвою великой. И так тепло. Так спокойно, что сердцу плакать охота. Наивысшая благодать, наивысшая...

Шёпот Господень молится со мной, молится всё тише. Он укрывает меня, и я слышу её песнь. Она не говорит «прощай». Она держит меня за руку. Её волосы пахнут солнцем, а в глазах — вечное море. Она улыбается.

Я вижу! Господь Всемогущий! Вижу!!! Я вижу её бездонные зелёные глаза и золотые волосы. Её мягкую улыбку и гордую осанку. Она сидит подле меня и улыбается. Но видение тает, и меня вновь укрывает тьма. Сквозь тьму льётся ангельский шёпот, и с шёпотом слышу я голос. Он поёт мне, поёт объятый светом, объятый пламенем. И в свете этом я её вижу. Вижу!

Ох!

Я вижу! Господи, помилуй... как произойдёт великая перемена. Крайние ужасы и отмщения. Когда Луна ведома своим ангелом, небо приближается ко времени, когда не будет колебаний.[2]

Надо мной фигура. Она держит меня за руку. Но это не она: молодой барин, которого встречал я на севере, держит меня за руку, провожая в последний путь. Только теперь граф видит, его сердце свободно и чисто. Говорит со мной барин, только именем не моим называет. Отвечаю я графу, что имя моё другое и Господа благодарю. Хотя, я знал, что так будет. Знал, что спасёт он душу свою. Спасибо, Господи, за дарованное ему спасение! Из последних сил шепчу барину, что он тоже знал, что все мы знали.

Какое дивное диво, Господи, прозреть на одре смертном. Спасибо, Господи, за великий дар Твой. Спасибо, Господи, за великий дар Твой...

Свет разгоняет тьму, и я вижу... Сияющие цветы на бесконечном поле. Ах, вот оно какое, поле! А трава! Чудо, настоящее чудо, Господи! Так чудесно, что не могу более дышать... Кашель разрывает грудь мою...

И вновь тьма. Тьма родная. И ангелы шепчут высоко-высоко. Их шёпот молится за меня. Весь лес провожает меня во Дворец Нетленный.

Ангел держит меня за руку. Он пришёл ко мне с высоты небесной, мне неведомой. Я говорю ангелу, что спустя столько лет я вижу!

Я вижу, вижу... Спустя столько лет я вижу её лицо. Как она прекрасна! Чудо... Настоящее чудо!

Как чудесен свет! Господи...

Я чувствую мягкое, будто дуновение ветерка, касание: ангел закрывает мне веки.

Я вижу Свет!

3.

Никто не спасёт нас, кроме нас самих.
Будда.

[2] Мишель Нострадамус. Центурия1, катрен 56.

XXII век, 60-65 лет после Вторжения.

Он смотрит на меня и улыбается. Здоровый такой детина. Вот думаю, как такие в наше время урождаются? Рука размером с мою ногу. Смотрит так, прищуром, оценивающе. Лысый, как и все с ковчегов. Серая военная форма. Защитный шлем, как и у всех миротворцев. От инфекций. Вновь смотрю на его руки. Наверное, хорошо кормят под землёй. Хорошо, если так. Значит, её там тоже кормят. Я очень на это надеюсь.

— Опять хотел сбежать? — говорит и кладёт руку на шлем, словно думает. Почему-то у меня большие сомнения, что он это умеет. — Сколько у тебя нарушений протокола? — переводит взгляд на свой карманный компьютер. Я знаю, эти их светящиеся штуки называются компьютерами. Интересно, у Киры есть такой же? Когда найду её, то непременно попрошу научить им пользоваться. Сквозь шлем вижу, как улыбка детины становится шире: много, братец, у меня нарушений, много. И будет ещё больше, пока её не найду. А я её найду, чего бы мне это ни стоило.

— Больше десяти попыток сбежать из лагеря, пять попыток проникнуть под землю, — говорит и издаёт сдавленный смешок. Снова переводит взгляд на меня. — Отчаянный малый. Ты хоть понимаешь, что таких, как ты, вниз всё равно не пустят? Твоё место — здесь. Ты будешь строить, как и все, пока не испустишь дух. Или пока тебя не заберут иные, — последнюю фразу он говорит с нескрываемым удовольствием. — А пока мне велели придумать тебе наказание, — он опускается на брезентовый стул. Его скафандр скрипит. Его шлем сопит от его дыхания, словно откачивающий механизм в миниатюре. Такая машина с длинным хоботом рядом с буром откачивает драгоценную воду. — Рустам из барака под номером шесть, ты слишком много доставляешь руководству хлопот, — он вновь сверлит меня своими поросячьими глазками. — Я бы тебя на электрический стул, и дело с концом. Только вот они говорят, что нельзя так расточительно разбрасываться рабочей силой.

Он продолжает говорить, наслаждаясь моим унижением, а я думаю, каково ей. Всегда в такие моменты только о ней и думаю. Что с ней случилось? Стала ли она пилотом? Сколько раз, когда выла сирена, и мы бежали в убежище, я смотрел на небо и видел их — серебряных стальных птиц. Они сверкали, они летели с невероятной скоростью, будто ветер. И я думал, что там, в небе, закованная в железную броню, — она. Под снарядами иных, под их огнём, она, мой небесный ангел. Жива ли ты, родная? Сколько раз моё сердце обрывалось, когда я видел, как в огненном зареве падают самолёты. Сколько раз я сбегал из лагеря на побоище, чтобы среди обломков искать тебя. Искать, замирая от ужаса. Но среди частей обожжённых тел невозможно что-либо разобрать. Это даже хорошо: у меня всё ещё есть надежда, есть цель — найти тебя, мой ангел. Если бы я опознал тебя среди умерших, тогда... Я не знаю, что было бы тогда. Я понимаю, что атаки иных совершаются постоянно и в разных частях света. Я понимаю, что тебя, может, уже и нет в нашем безумном мире. Но пока я не видел твоего тела, я буду верить. Пока есть надежда, я буду продолжать искать.

— Десять плетей, — наконец выдаёт детина. Он, видимо, сообразил, что я не слушаю его. — Месяц исправительных работ в шахте с изгнанниками.

Изгнанники. Те, кого за неповиновение вернули наверх. В наказание у них самая сложная работа: в шахтах строят укрепления нижних ярусов будущих ковчегов. Я слышал от одного из таких, что в Вавилоне есть план о терраформировании планеты, и главный ковчег-терраформер строят где-то под водой. Иные, говорят, воду вообще не переносят. Будет дополнительная защита, а система опреснения и очищения позволит свободно использовать воду. Одни плюсы. Мне же страшно думать о том, сколько людей гибнет на этой стройке. От изгнанников слышал, что под землёй — целые города. Настоящие, почти как раньше. Что там даже играют свадьбы и рожают детей. Мне вот интересно, знают ли обитатели подземелий, какой ценой достаётся их беззаботная жизнь?

Детина зычно зовёт охрану, и два таких же амбала в скафандрах берут меня под руки. Меня выводят из шатра надзирателя и ведут меж белых палаток, ведут на площадь. Небо — белое, как молоко, которое нам иногда дают. И сквозь это молоко светит неистовое солнце. Я слышал, тоже от одного изгнанного, внизу говорят о том, что у нашей планеты истончился какой-то озоновый слой. Что здесь, наверху, уже есть признаки лучевой болезни, и именно поэтому миротворцы одеваются как космонавты. Правда, кто такие космонавты, я так и не понял. Понял лишь то, что на всей земле рано или поздно будет адово пекло. Это ещё одна причина, по которой строят подводный ковчег. Вода — хорошая защита от какого-то ультрафиолета. Если это — правда, я очень надеюсь, что Кира окажется в числе тех, кому посчастливится спастись в новом бункере.

Охранники громко, насколько позволяют им шлемы, кричат, что пора собираться на казнь. Наказания в лагере всегда публичны. В назидание. За нами постепенно собирается толпа измученных. Они идут, потому что так положено. У них — время отдыха, они устали до смерти, как и я. Все — и мужчины, и женщины, которые не прошли отбор вниз. Теперь я знаю, чем же на самом деле является сканирование. Знать бы раньше... Может, мы бы до сих пор жили у парка с колодцем. И у нас была бы занавеска с белыми цветочками. Почему-то я хорошо помню эту истлевшую ткань, которая висела на окне. Наверное, потому что она очень нравилась Кире.

Люди идут, как тени. Когда доходим до площади, зрители выстраиваются вокруг лобного места. До меня им нет никакого дела. Я сам часто бывал одним из них. Очень хочется скорее вернуться в барак и уснуть. Но если не пойдёшь на казнь, сам схлопочешь наказание. Они за этим следят. Они говорят, что если мы перестанем бояться, случится анархия, и тогда весь мир рухнет. Думаю, мир уже рухнул. Еще шестьдесят с лишним лет тому назад. А может, и намного раньше.

Меня заводят по ступеням. Они деревянные, серые. Сухие, как и наш безликий мир. Скрипят. Конвоиры приказывают снять рубаху. Я раздеваюсь, меня привязывают к столбу. Он тоже из дерева, шершавый. С почерневшими разводами крови. Привычная процедура. Через три-четыре удара сознание, обычно, меня покидает. И тогда я вижу её, вижу словно наяву. Порой мне кажется, я даже чувствую запах её волос. Ради этих видений стоит провиниться.

Я слышу свист хлыста, и нестерпимая боль пронзает всё тело. В этот раз порют металлической плетью. Перед зажмуренными глазами расплываются жёлтые круги. Переживу ли десять ударов? По спине сбегает струйка крови. Она холодная и даже приятная. Ещё свист, и новая волна боли разливается по телу. Почему наказание ужесточили? Вселенная перед глазами мерцает всеми цветами радуги. Удар. Солоноватый привкус крови. И снова нестерпимая боль. Наверное, я даже кричу. Или плачу. Ещё свист. Моё тело превращается в квинтэссенцию боли, становится её храмом. И я вижу её глаза. Зелёные и глубокие. Волосы — тёмные с золотом. Она улыбается и зовёт гулять под звёздами. Она говорит, что звёзды — это далёкие миры. Так учил её дед Карим, у которого отец был астрономом. Интересная, говорю, профессия, на звёзды смотреть. Она загадочно улыбается и говорит, давай, и мы станем астрономами? Мы одеваемся и выходим на улицу. Она жмётся ко мне, а смотрит на небо. Оно и правда прекрасно. Яркая полоса звёзд мерцает, переливается. Я предлагаю Кире выбрать свою звезду, тот мир, куда бы она хотела улететь. Она замолкает, внимательно смотрит в небо и говорит, что звёзды прекрасны все: ей всё равно, на какую лететь, лишь бы я был рядом. А можно и не лететь вовсе. Она шепчет, что с нашим миром беда, но если мы покинем его, то как же выживет наша звезда? Она же может погаснуть. Я заверяю Киру, что мы не позволим. Она улыбается и говорит мне «спасибо». Мы идём дальше, а я думаю о том, какая она у меня удивительная. Моя звезда.

Звезда, которая будет освещать мой путь.

Я подарил Кире подвеску-ракушку, что осталась от родителей. После их смерти я берёг мамино украшение: кулон хранил в себе частичку родительской любви — символ того, что и

у меня когда-то всё было хорошо. Но когда я встретил Киру, понял, что счастье ещё может быть в моей жизни. Это было невероятно, захватывающе и невозможно. И я подарил ракушку ей, подарил для того, чтобы мы были вместе. Были вместе вечно. Как жаль, что вечность так быстро заканчивается…

Я помню, как впервые увидел её. Никогда не забуду: в ареоле солнечного света, она походила на неземное создание. Она шла среди бесцветных грязных тентов рыночных палаток, а я, забыв обо всём, за ней. Из-за вечных северных облаков выглянуло солнце и осветило её. Она остановилась у прилавка с тушками крыс и обернулась на меня. Я подумал: ангел. Так и стоял, не в силах отвести глаз. И тогда она улыбнулась. Кира. Кира...

— Мила, — шепчет кто-то, — меня зовут Мила.

Перед глазами — серая пелена. Я не понимаю, что происходит: тело болит так, словно мне сломали все кости. Дышать трудно, воздух с болью и свистом проникает в лёгкие. Наверное, надо перестать дышать. Так будет легче. Но я не могу. Не могу, пока не найду её.

— Меня зовут Мила, — вновь шепчет голос, и я чувствую, как вода, обжигая, стекает по спине. Не выдерживаю, кричу. Голос просит потерпеть, говорит, что раны надо промыть. И я терплю. Терплю ради неё. Теперь, говорит Мила, надо обработать антисептиком. Это будет ещё больнее. Куда уж больнее. Больнее мне уже не сделаешь. Пытаюсь кивнуть и чувствую, как мне в зубы дают палку. Значит, будет действительно больно. Кажется, меня режут. Но на этот раз сознание не хочет меня покидать. А жаль. Я очень хочу снова увидеть её, моего ангела. Мила говорит, что наложит швы, положит мазь и перебинтует меня. Она говорит, что ей стоило больших усилий добыть медикаменты у миротворцев. Она говорит, что любит меня, несмотря на то, что я её — нет. Мне жаль её. Как и всех тех женщин, что искали моей любви, отдаваясь телом. Но тело — телом, люблю я лишь одну. И буду любить её вечно, такое вот у меня проклятие.

Я чувствую, как сквозь мою кожу протягивают медицинские нити. Неприятно, словно изнутри выползают черви. Белые, тонкие, склизкие. Мне уже не больно, мой организм устал терпеть. Я очень надеюсь, что Киру там не мучают.

— Я тебе скажу, что ты, парень, страшный эгоист, — раздаётся откуда-то старческий голос. Я пытаюсь повернуть голову, но Мила рукой укладывает меня обратно. — Лежи-лежи, потом на меня посмотришь. Лучше слушай. Мила, вытащи ему кляп. Вдруг сказать что захочет.

Маленькая женская рука убирает у меня изо рта палку. Я вновь пытаюсь обернуться, но не выходит. Смотрю перед собой на светлый брезент барака, как он немного покачивается на ветру. Жарко, душно. В такие мгновения вспоминаю о нашем северном городе, где даже была зима. Холодная, лютая порой. Интересно, сейчас зимы остались?

— Зачем ты хочешь найти её? — возвращает меня в мир скрипучий голос.

— Люблю, — выдавливаю с трудом. Мой голос похож на какое-то сиплое бульканье. Позади раздаётся смех. Добрый, понимающий смех.

— Хорошо, — говорит. — Вот представь, что нашёл её. Она там у тебя кто? Что говорили, когда забирали?

— Пилот, — давлюсь.

— Пилоты долго не живут. Скорее всего, её давно нет. Ты должен это понимать. Если же она научилась мастерски летать и всё ещё жива, тогда она в большом почёте. Тогда у неё есть всё: медицина, жильё, еда. Друзья, коллеги. Мне Мила говорила, что с вашего расставания прошло более десяти лет. Говорила, что твоя Кира была намного моложе тебя. Неужели ты думаешь, что она до сих пор одна? За такой срок она могла даже уйти в отставку и родить детей. И ты хочешь разрушить ей жизнь? Или ты хочешь услышать её отказ? Что ей, заслуженному пилоту военно-воздушных сил, ты сможешь предложить? Жизнь с тобой на каторге? Или скитания с цыганским табором и голодную смерть?

Я молчу. Я и сам много раз думал об этом. Но мне почему-то кажется, что, несмотря ни на что, она ждёт меня. Может, она даже замужем. Внизу играют свадьбы. Мне неважно. Мне просто хочется её увидеть. Хотя бы раз. Хоть издалека. Хочется знать, что она жива и у неё всё хорошо. Тогда я вернусь на свою каторгу и погибну на стройке убежища для неё. Но если её больше нет, тогда мне нет смысла строить. Нет смысла цепляться за эту невыносимую жизнь.

— Я же говорю, что ты — эгоист, — продолжает старик. — Ты отчаянно ищешь смысл жизни. И ты находишь его в ней. Найди свой смысл в себе самом.

Я бы ему врезал. Собираю все силы и поворачиваю голову. Внутри всё обрывается: напротив, на соседней койке, сидит тщедушный дедушка без ног. Его костыли стоят рядом, у лестницы на верхние ярусы койко-мест. Он опирается тонкими руками на постель, сидеть ему неудобно: ноги обрублены выше колен. Он замечает мой ужас и улыбается. У него очень ясные глаза. И седые волосы, похожие на пух.

— Я тоже был пилотом, только боевого робота, — говорит, отвечая на мой немой вопрос. — Теперь уже давно — лишь груда металлолома. Видишь, — показывает на свои сухие скрюченные руки, — меня почти не кормят. Говорят, что я мало трачу энергии, ведь почти всё время лежу. Но я-то знаю, что они уменьшают мои порции не просто так. Еды не хватает. А им и вас, и ковчеги кормить надо. Так что я на них не в обиде. Я бы давно ушёл, только вот большой грех руки на себя накладывать.

Слова застревают у меня в горле. Он говорит «грех». Слово из другого мира, отголосок иной жизни, которой, как мне кажется, никогда и не было. В ином мире просто не могло появиться такого понятия, как грех. Оно — здесь, сейчас, оно — суть человеческой натуры. Но старик, что смотрит на меня, кажется, так не считает. Он улыбается. Искренне. И от этого мне становится страшно: будто умирающий калека знает то, что недоступно остальным. Какой-то великий секрет.

Я чувствую, как Мила завязывает последний узел на моей спине и начинает накладывать мазь. Запах лекарства горький и острый. Даже немного режет глаза. Мила старается лечить аккуратно и нежно, словно действительно боится сделать мне ещё больнее. Она хорошая, Мила. Таких, я знаю, не много. Она любит меня, заботится и ничего не просит взамен. Она просто есть — незримая тень, которую я называю Кирой. Что ужасно — меня совершенно не мучает совесть. Ещё ужаснее то, что, порой, я ненавижу её. Ненавижу её за безусловную любовь, за терпение. Наверное, я действительно эгоист.

Мила берётся за перевязку. Сначала, чувствую, кладёт чистую ткань, пропитанную той же мазью. Ткань влажная и холодная на моей полыхающей спине. Даже приятно. Затем бинт. Руки Милы аккуратно проводят моток марли под моей грудью. Затем ещё и ещё. Боюсь подумать, чего ей стоило раздобыть все эти сокровища. Она бинтует меня и говорит, что добилась для меня целых три выходных дня. Мила говорит, что постарается продлить моё лечение на неделю. Мне нужно сказать ей, что не надо, что опасно влезать в такие долги к миротворцам, но я молчу. Молчу и смотрю на свои окровавленные простыни. Пятна крови чем-то напоминают ромашки. Красные на белом. Или белые на красном. Наверное, белые на красном, да. Кажется, они даже сияют.

Я закрываю глаза, силы меня покидают. Где-то далеко в тумане Мила подносит стакан чистой воды. Ещё одна непозволительная роскошь. Но я не размыкаю губ. Я проваливаюсь в долгожданное небытие.

— Есть будешь? — спрашивает меня отец. Он наливает в миску суп — неясное бурлящее месиво — и смотрит на меня. Смотрит сухо, сквозь паутину глубоких морщин. Он ещё молодой, я знаю. Для меня он всегда будет молодым. Как и мама. За папой ветер поднимает полы нашей палатки. Мы долго натягивали её меж двух каменных плит, мешал ветер. Плиты стоят почти вертикально, сильно врезавшись в землю. Наверное, останки какого-то строения. Я представляю, как взрыв подхватил их и обрушил со всей своей яростью. Удивительно, что

они так и не раскололись. Это хорошо: нам с папой осталось накрыть крышу и завесить две стороны вместо четырёх. У нас получился домик.

Перед папой — небольшой костерок, над которым в чугунке варится суп. За этот чугунок на рынке он отдал мамино платье. Папа долго решался на этот шаг. Я ему помог: взял и отдал. Папа потом ударил меня, а затем плакал. Просил прощения, а я на него даже не обижался. Мне тоже было жалко мамино платье. Мне очень не хватает мамы. Мама погибла год назад — её забрала болезнь. Когда мама умирала, она положила свою мягкую ладонь мне на руку и тихо прошептала. Мама шептала мне о том, чтобы я не грустил, ведь она отправляется в рай, она уходит на небо. Мама шептала мне о рае и звёздах, а по моим щекам текли солёные слёзы.

После того, как умерла мама, мы с отцом покинули дом. Я не хотел уходить, обижался на отца — я не понимал его. Сейчас уже понимаю — в том доме всё напоминало о маме — отец строил дом вместе с мамой в те времена, когда меня ещё не было. Мамины руки помогали натягивать между руинами тент и застилать пол. Стены хранили воспоминания о колыбельных, которые пела мне мама, а её место за нашим столом навеки останется пустым.

Порой, мне хочется вернуться домой, наш дом мне снится, но знаю я, что дорога потеряна уже навсегда… Дорога в мою золотую страну.

Отец повторяет вопрос, я киваю и принимаю миску с супом. Суп такой мутный, что в нём отражается серое затянутое тучами небо. Закрываю глаза и делаю глоток. Горячая жидкость обжигает, словно огонь, но я терплю. Наверное, мне даже приятно. Папа спрашивает, нравится ли мне. Я киваю и открываю глаза. Костерок, отцовский чугунок над ним, и серая безликая палатка. Я собрал её из лоскутов той ткани, что осталась в наследство от папы. Папа. Я до сих пор вижу твоё печальное лицо напротив. Каждый раз, когда я приступаю к обеду, я представляю тебя. Маму, к сожалению, из моей памяти стёрло время. Я его за это ненавижу.

Я помню лишь золотой отблеск её тёмных кучерявых волос. Этот блеск походил на заходящее солнце. Помню, когда я впервые увидел безоблачный закат, мама была рядом. Она держала меня на руках и говорила, как красиво. Она говорила, что такое чудо случилось впервые за последние десять лет. Говорила, что земля стала оживать. Тогда я её не понимал... Мне так хочется, чтобы она поговорила со мной. Хочется вновь услышать её голос. Увидеть закат в её волосах. Мама. Милая, родная мама. Как жаль, что я не помню...

Хотя, я помню прекрасное, что наполняло моё бытие *до,* — помню счастье. Неужели в аду возможно счастье? Счастье, что звенит подобно голосам ангелов, поющих в храме…

Иду по рынку. Грязному, смрадному. Тут меняют всё: от ворованного оружия миротворцев до тушек крыс и собак. Я сам не знаю, зачем пришёл в этот разрушенный северный город. С тех пор, как хворь забрала и отца, не могу оставаться на месте. Я пережил множество атак иных, погибал от голода в дороге, но продолжал идти. Я боюсь останавливаться. Боюсь, что сойду с ума. Мне несколько раз предлагали примкнуть к каравану цыган или отправиться к миротворцам, но я не хотел. Был уверен: это я всегда успею. И вот судьба закинула меня на север. Тут холодно и зимой идёт грязный тёмный снег, больше похожий на пепел. Пару раз я даже встречал зелёные ели. Если бы их увидела мама, она бы сказала, что земля оживает.

Народ толпится, галдит. Грязные, серые, но живые. Бабка, совсем беззубая, расположилась у останков кирпичной стены и зычным голосом зазывает покупателей. Она очень смешно шепелявит. У неё какие-то консервы: в банках плавает совершенно неясная муть. Я, конечно, голодный, но не настолько. Думаю, надо поискать мясо. Если повезёт, ещё головку лука. Знаю, некоторые ещё выращивают его. Только лук стоит целое состояние — боюсь, не потяну. Иду сквозь толпу, ищу глазами палатку с тушками. И тут случается чудо: солнце.

Золотой свет прорывает извечную мглу, и мы все замираем, настолько это прекрасно. Даже бабушка перестаёт хвалить свои банки. Я смотрю наверх, и мне чудится, будто воздух сияет в солнечном свете. Пыль, грязная пыль, мерцает. Время застывает, превращается в вечность. Я опускаю взгляд и вижу её. Её волосы горят, подобно закату. Солнце отражается от

них, и мне кажется, что её окружает нимб. Она — ангел, одна из тех неземных существ, о которых мне рассказывала мама. У ангела зелёные глаза, и она улыбается. Она говорит, что её зовут Кира. А я говорю, что, кажется, могу больше никуда не идти. Говорю, что, наконец, дошёл. Она смеётся и предлагает выбрать крысу вместе. Спрашивает, хорошо ли я разбираюсь в мясе. А я стою, как вкопанный, и не могу думать о крысах. Я ни о чём не могу думать, кроме солнца в её волосах.

Солнце светит всё ярче и ярче. Разгорается нещадно. Пожар полыхает. Неистовый, испепеляющий настолько, что я вижу его сквозь закрытые веки. Перед закрытыми глазами всё алое. А на спине пляшут языки пламени. Я очень хочу, чтобы кто-нибудь потушил огонь. Пытаюсь сказать хоть слово, но сил нет. Нестерпимая жажда мучает так, что не могу издать и звука. Пытаюсь снова и ужасаюсь собственным звукам: это даже не хрип. Нечеловеческие стоны. Кто-то подносит стакан воды. С трудом делаю глоток. Лёжа на животе неудобно, а перевернуться не могу: спина горит заживо. Вода режет внутренности, словно нож. Делаю ещё одно усилие, ещё один маленький глоток. Но огонь на спине продолжает пожирать меня. Огонь на спине. Если моя спина полыхает, то почему я ещё жив?

— Как ты? — спрашивают. Судя по голосу, наверное, женщина. Мама?

Сиплый смех. Значит, есть ещё кто-то. Почему они не тушат мой пожар? Силюсь открыть глаза: неясный мир тонет в тумане. Он светится: наверное, вновь выглянуло солнце. Я помню наше с ней первое весеннее солнце. Зиму мы пережили с трудом. Было невыносимо холодно. У северных зим только одно преимущество — талая вода. Мы топили снег в отцовском котелке на буржуйке, что оставил Кире дед Карим. Настоящее сокровище — печка. Кира очень переживала за её сохранность, даже прятала от других жителей общины.

Зима была суровая. Мы с Кирой сидели на полу возле печки. В окне — белым-бело. Дед ещё окна добротно сделал: часть проёмов забил досками, часть — заставил сборным стеклом, которое немножко звенело на ветру.

— Мне иногда кажется, — шептала Кира прижимаясь ко мне, — что там, в морозных узорах, — целый мир, — она водила пальчиком по заледенелому полу. — В том мире живут хрустальные человечки, а правит ими алмазный император.

Я улыбнулся её словам и крепче обнял. Для неё, моего небесного ангела, весь наш несправедливый мир будто являлся откровением. Откровением, которое, порой, отгоняло тёмную тоску, сковывающую мою душу.

— А рядом со снежной страной алмазного императора лежит солнечное ханство, — я показал на горящую буржуйку, и Кира улыбнулась. Хан солнечной страны возвёл Дворец Нетленный, продолжал сказку я, Дворец был высотой до самых звёзд. Кира тихо смеялась: построить Дворец до звёзд невозможно, прошептала. Но я возразил: в наших мечтах возможно всё. Даже возвести среди звёзд дворец — самый прекрасный дворец во Вселенной.

— Как ты думаешь, — шёпот Киры сделался серьёзным. Она смотрела на буржуйку, между бровей пролегла морщинка, — огонь солнечного ханства благодатный?

Я знал про кошмары, что не давали ей спать, знал про огонь, который сводил её с ума, и которого она так боялась.

— Конечно благодатный, — ответил я, и она посмотрела на меня. В её зелёных глазах я видел целый мир. — Истинный смысл огня — очищение.

Кира положила голову на моё плечо.

— Наверное, иные тоже наше очищение, — сказала тихо. — Но я боюсь их всё равно.

— И я.

И вдруг окно озарилось золотом. Кира испугалась: иные. Она вцепилась в мою руку, не хотела пускать к окну. Я ей говорил, что иные беззвучно не летают, что это нечто другое. Мы подошли к окну и ахнули — заснеженный город светился. Всё искрилось пронзительным

светом: и парк с пнями, и разрушенные дома, и кое-где торчащие столбы, далёкие палатки рынка. Мир сиял до самого горизонта. И тогда Кира сказала: «Весна. Начинается весна».

А потом действительно началась весна. Наша с ней весна. Лютые холода отступали, снег таял. Кира говорила мне, что капель звенит, и в этом перезвоне она слышала музыку весны. Нашей весны, которая будет вечно в сердце моём.

Талой воды было много, и вкус у неё был удивительно приятный, не то что тёплые помои строительного лагеря с привкусом железа.

Мне подносят ещё воды. Пытаюсь перевернуться на спину и кричу от нестерпимой боли: спина горит. Кажется, что в меня воткнули ножи. А ещё мне кажется, что всё же никакого пожара нет.

— Ляг на живот, а то повредишь швы, — говорит она, сияя в лучах света. Только в её волосах нет заката. Её не окружает нимб.

Я прошу у неё воды. Она поит меня, я ложусь на живот и думаю о весне. О прогулках под звёздами. Под звёздами и солнцем.

Никогда не забуду нашу с ней весеннюю прогулку: солнце заливало разрушенный город, превращая его в сияющую сказку. Кира не знала, когда родилась, и я предложил отмечать праздник её рождения весной — порой, когда среди вечной мглы иногда выглядывает солнце. Солнце, что светит в её волосах.

Я разбудил любимую рано: я хотел, чтобы её первый День Рождения был самым долгим днём в году. Забавно, конечно, но Кире моя идея тоже понравилась — остановить мгновение, как сказала она, запечатлеть праздник в истории Вселенной.

Я готовился к этому дню долго, собирал в нашем городе вещи для обмена: микросхемы, останки деревянной мебели, какие-то механизмы предков, проволоки; были даже настоящие свечи! В одной разрушенной квартире нашёл аптечку. Правда, лекарствам было почти полвека, но это не уменьшало их ценности. Пару раз даже попадал в драку, когда находил такие сокровища. Но это того стоило: я смог выменять у цыган настоящий хлеб и очищенную воду с ковчегов. Слышал, ради подобного цыгане нападают на бронеходы. Но меня это не волновало: я отдал лекарства и металлы, а получил истинное чудо. Чудо для моего ангела.

Тот день был действительно чудесным… Мы сидели за праздничным столом, у нас были свечи, вода и настоящий хлеб. Кира задула свечи. Она сказала, что загадала желание. Настоящее желание, как в сказках. Правда про само желание Кира не сказала — боялась, что не сбудется.

А потом мы пошли гулять. Мы шли между развалин, и солнечные лучи освещали серые останки города, делая его золотым. И даже ветер был лёгким и свежим, опьяняющим... И тогда я подарил ей ракушку — символ бесконечности, символ нашей любви. Кира посмотрела на меня своими бездонными глазами и тихо прошептала, что будет хранить мой подарок до самой смерти. Тогда я спросил её, зачем думать о смерти, когда впереди — вся жизнь? Жизнь, ответила мне Кира, всего лишь миг. Но что есть миг по сравнению с вечностью?

Миг… Наше с ней счастье было действительно мигом.

Хранит ли Кира ракушку сейчас? Берёт ли в небо? Душа подсказывает — хранит. И будет хранить вечно.

Думаю о сияющем городе. О парке с сухими пнями. О том, как мы вместе ходили за водой. Мы вставали до зари, чтобы успеть набрать самую чистую воду. И эти мгновения, мгновения, когда мы стояли в очереди к колодцу и смотрели на пробуждение мира — самые счастливые в моей жизни. Потом мы шли домой, грели на буржуйке воду и завтракали. Завтракали у занавески в ромашку в разрушенном сияющем городе.

Сияющий город разрушает гвалт: мир заполняют мечущиеся фигуры. Они все что-то кричат, говорят, снуют. Сквозь сон слышу, как она кого-то просит не мешать. Она говорит, что у меня зашиты швы, что меня пороли металлической плетью. А мне она говорит, что в

барак пришли со смены строители. Она принесла с ужина еду. Говорит, надо есть. Я нехотя слушаюсь. Ем это невыносимое месиво, которое называют белковой кашей. Хуже неё только молоко. Когда его плохо разводят, порошок скрипит на зубах. Она даёт мне какие-то таблетки. Антибиотики. Затем она уходит, говорит, в ночную смену сегодня. Кажется, она целует меня в лоб. Кажется, её зовут Мила.

Мир то проваливается в непроглядную тьму, то озаряется светом. Порой, в этом заполняющем всё бытие свете я слышу музыку. Музыку весны. Скрипки играют птиц, переговариваются. Хотя, смутно понимаю, что это невозможно. Но неясное понимание тает, и звенящие трезвучия тишины вновь сливаются в симфонию. Это — музыка света. Она сильнее боли, что мучает меня всякий раз, когда я проваливаюсь в небытие. Она сильнее страданий, что меркнут в её сиянии. Она сильнее тьмы, что столько лет разъедает мою душу.

Она садится подле меня и говорит, чтобы я потерпел. Наклоняется и шепчет мне на ухо, что осталось совсем чуть, и тогда мы вместе растворимся в свете. Мы вновь станем им — чистым вечным сиянием. Мы будем вместе. Навсегда. Она обещает, что это будет прекрасно. Я с трудом открываю глаза и вижу солнце в её волосах.

— Сколько же ещё ты будешь бредить? — спрашивает меня скрипучий голос.

Сияние растворяется, открывая взору брезентовый барак, соседнюю койку и безногого старика на ней. Он полулежит, опираясь на костлявую, в бугрящихся венах руку. Как ствол сухого дерева. Остальные койки пусты.

— Сколько я спал? — мой голос звучит уже более человечно. Значит, спал я долго.

— Четыре дня, — безногий улыбается. — Она тебе десять дней выхлопотала. За тебя в шахты пошла.

Смотрю в пол. Земля сухая, в трещинах. Интересно, насколько они глубоки? Наверное, до самой преисподней.

— Я пытался уговорить её не делать этого, — продолжает монолог старик. Он знает, что я его слушаю. — Потому что твоё наказание справедливо. Не за то, что сбежать хотел, а за то, что её не ценишь. Вот за что тебя пороли.

— Я не люблю её.

— Вот дурак, — фыркает калека и скрипит своей раскладушкой. Садится, наверное. — Я не о любви тебе толкую, а о сострадании.

— Бред это всё, — говорю и чувствую, как начинаю злиться.

— Если это твоё заявление — искренне, тогда ты ничем не отличаешься от тех идиотов, что пороли тебя. Ты используешь её любовь в своих интересах, так же, как они нарушают устав и используют вас, рабочих, для удовлетворения своих. Им всем жизненно необходимо хоть как-то самоутверждаться. Быть отправленным работать надзирателем — худшее, что может случиться с гражданином ковчега. Ведь это значит, что ни на что другое у него просто нет мозгов.

— Значит, я — как они, — отвечаю сухо, а сам чувствую, что калека прав. Но я не хочу в этом признаваться. — А ты? — перевожу на него взгляд. Он сидит, опираясь на свои тоненькие руки и грустно на меня смотрит. Ему жаль меня. Меня это злит. Злит его искреннее участие. Как можно быть таким?

— Почему ты, гражданин ковчега, герой наземных боёв, заканчиваешь свою жизнь среди рабов? — спрашиваю, с трудом переворачиваясь на спину. Боль тут же впивается тысячами игл. Но я терплю. — За что тебя наказали?

— Да ни за что, — он пожимает острыми плечами, — так сложилось. Бой был изнурительным и долгим, иные наступали, нам пришлось спешно поворачивать назад. Тогда, в том бою, мне перемололо обе ноги. Мой робот превратился в груду железа, поэтому меня и забыли. Меня спасли миротворцы, которые вернулись за сплавами, за железом. Оно же бесценно. Обычно, если происходит внезапный разрыв нейронной синхронизации, человек либо

умирает, либо становится сумасшедшим. Мне же повезло — мозги не сгорели, только ноги, — он на некоторое время замолкает и легонько улыбается. Мне становится стыдно. — Так вот, — продолжает, — военные и доставили меня сюда. Откачали. Ампутировали ноги. Они хотели вернуть меня вниз, но анализы подвели: подхватил какую-то болячку. На ковчегах-то всё стерильно. Я тогда им сам сказал, что здесь останусь. Зачем тратить на меня лекарства, когда толку от меня уже нет? Мне сильно повезло: я воевал тридцать лет и выжил, когда мой робот погиб. Двое из тех ребят, которые меня спасли, до сих пор ходят навещать, — старик смотрит на меня внимательно. — А ты говоришь — бред. Человеком нужно быть, человеком.

Я смотрю на него, в его ясные серые глаза, и не могу понять. Мне кажется, он из другого мира.

— Но ты же говорил, что тебя не кормят, — вспоминаю я. — Я думал, ты здесь как изгнанник.

Старик смеётся.

— Как кто? — он качает головой. — Изгнанники — они всего лишь преступники, Рустам. Те, кто нарушили закон. Их отправляют на работы, чтобы хоть какую-то пользу приносили. Кто ж задаром кормить будет? Поэтому мне порции и уменьшают, что задаром кормят. Я уже говорил тебе, что на них я не в обиде, — он пытается устроиться удобнее. — Мир жесток. Но только потому, что его таким сделали мы.

— Мы? — удивляюсь. — Думаю, здесь ты ошибаешься. Это *они*, — показываю большим пальцем в брезентовый потолок.

Калека смеётся.

— Как жаль, что ты не знаешь всего того, что знаю я, — говорит. — Жаль, что ты не знаешь истории.

Жаль, говорит, что прошлое так быстро забывается. Старик говорит, что иные — не самая страшная эпоха в жизни людей. Он рассказывает о мировых войнах и ядерных бомбах. Сейчас, говорит, мир разрушен, лежит в руинах. Но человек выжил и смог приспособиться. Он говорит, что никогда прежде люди не были настолько сплочёнными, как сейчас. Беззаконие строительных лагерей, грубость военных, безразличие к судьбе отдельного человека были всегда. Но надо, говорит, мыслить более масштабно. Надо смотреть на всё со стороны.

А я не хочу смотреть со стороны. Я хочу жить. Просто жить — ведь это и есть самая великая ценность. Старик называет это утопией, но соглашается с тем, что к ней, к утопии, нужно стремиться. Но стремиться через осознание всех масштабов. Стремиться, начиная с себя. Ничего не требовать, но — давать.

Я его не понимаю. Наверное, действительно жаль, что я не знаю книг Единой Библиотеки. Я даже не умею читать. Я умею только выживать, и мне плевать на иных или кого-то там ещё. Я считаю, что ничего важнее личного счастья не существует. Так что я, наверное, и вправду, как они. Вот Кира — да. Она бы с калекой поговорила по душам. Её всегда волновало всё глобальное, мировое, общее. Помню, как её завораживали звёзды. А она завораживала меня.

Ко мне вновь приходит Мила. Десять дней прошли быстро. Она всё свободное время посвящала мне: приносила еду, меняла повязку, давала таблетки. Я видел, что она невозможно устала — работала две смены, свою и мою. Причём мою — в шахтах.

Её глаза запали, руки трясутся. Я смотрю на неё и думаю о том, что если бы её жизнь сложилась иначе, она была бы очень красива. У неё пепельные волосы и синие глаза. Длинные ресницы. Тонкие пальцы, которые держат стакан с водой, все в мозолях. Ей бы платье и самоцветы, как у женщины на картине, что висит в палатке надзирателя. Была бы королевой. Я так и не решился спросить у неё, как она смогла достать лекарства. Я просто говорю ей «спасибо». Она плачет. Кажется, я тоже.

4.

Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрёл, и против него будет то, что он приобрёл.

Коран (2:86)[3]

Конец XX века, 1997 год.

Что есть звук?

Что есть музыка?

Как поют птицы?

Как стучит дождь?

Как шумит море?

Как гремит метро? Читала, в подземке такой грохот, что ничего не слышно. Вот дела: звук заглушает звук, и становится неслышно. Не слышно. Ничего. Думаю, спускаясь в метро, все люди становятся как я. Только немножко. Ведь я даже не знаю, как звучит моё имя.

Читала, что в космосе тоже нет звуков. Что галактики, звёзды и планеты живут в вечном безмолвии. Звёзды даже взрываются в тишине. И умирают. Тогда, наверное, я похожа на космос. На вечно одинокий космос.

Пред моими глазами появляются изящные руки младшей сестры. Поднимаю взгляд: она улыбается и говорит, жестами говорит, что купила краски, которые я просила. Я улыбаюсь и принимаю тюбики. Они тёплые, ещё хранят тепло сестринских рук. Охра, кадмий жёлтый, индиго, краплак. Остальные у меня, кажется, есть. Вздыхаю: вот и всё. Всё готово для последней картины.

Да, я решила, что хватит. Общение с миром пора заканчивать. За полвека он так и не ответил мне. Для своих лет я слишком настойчива в желании написать шедевр. А ещё я устала. Смертельно устала.

Сестра садится в кресло напротив и своими красивыми пальцами спрашивает, чем ещё она может мне помочь. А я продолжаю смотреть на её прекрасные руки. Они у неё удивительные, как у баронессы. Тонкие, изящные. Сестре уже к семидесяти, а кисти рук — будто она совсем молодая. Сестра руками останавливает время.

Тёплый свет настольной лампы освещает её мягкие черты и ясные голубые глаза. Отражается золотом от украшенных сединой волос. Да-да, именно украшенных. Это же так красиво — платиновые пряди. Те, кто полагают, будто возраст отбирает красоту, на самом деле ничего в ней не смыслят. Они не замечают, насколько прекрасны морщины, тонко повторяющие пластику лица. Они не видят, каким совершенным, наполненным жизнью становится взгляд. И какими спокойными делаются движения, когда человек начинает чувствовать время. Они не видят, как с возрастом спадают с лиц маски. Я умею только видеть. И я смотрю, я наблюдаю. И вижу я, как время открывает человеческие души. Снимает напускное. Юность подвластна влиянию извне. Глаза юности пытливы и надменны. Они смотрят на мир с вызовом и дерзостью. Юность уверена, что может изменить мир. Но человек, который познакомился с жизнью, больше таких иллюзий не питает. Он, пусть даже неосознанно, чувствует — единственное, что имеет значение — его душа. И если у него хватает опыта и мудрости позволить душе расправить крылья, его жизнь превращается в полёт. Полёт, который может изменить не один мир. И этот полёт я вижу во взгляде, в жестах, в осанке и в улыбке. Вы замечали, что улыбка пожилых людей часто похожа на улыбку Джоконды? И разве это не есть истинная красота? Душевная

[3] Сура «Корова», аят 286. Перевод. Эльмир Рафаэль оглы Кулиев.

красота? И что по сравнению с ней, истинной красотой, есть красота телесная? Что есть миг по сравнению с вечностью?

Руки сестры спрашивают меня, всё ли у меня в порядке? Я вновь ушла в себя. Да, чем старше становишься, тем больше возвращаешься к себе. Больше размышляешь. И в этом я нахожу своё успокоение, единение с безмолвной Вселенной.

Перевожу взгляд на сестринское лицо: сестра с беспокойством смотрит на меня. Конечно, ведь я на семь лет старше её. Наверное, она думает, что такие вот провалы — следствие плохого самочувствия. Она ошибается. Но я не буду ей об этом говорить.

Между мной и сестрой — письменный столик, на котором — лампа с зелёным абажуром, несколько газет и тюбики краски. Рисовать я начну завтра. Наверное. Мне почему-то кажется, что когда я положу последний штрих своей последней картины, наступит мой последний миг. Я не могу объяснить, откуда явилось такое странное чувство, но оно ясно мне так же, как и то, что завтра наступит новый день. Хочу я или нет, но солнце над землёй взойдёт. А моё — потухнет.

Тем временем сестра предлагает выпить чаю, я соглашаюсь. Пока отвечаю ей, замечаю, что мои руки уже не слушаются меня, дрожат. Наверное, дрожали они и раньше, только вот я не обращала внимания. А раз заметила, значит, откладывать написание последней картины нельзя. Времени осталось мало.

Медленно поднимаюсь: кости болят. Это хорошо — значит, я ещё жива. Иду за сестрой на кухню. Дом наш большой, просторный. Достался в наследство от отца. А папе — от его деда, барона Рудольфа. Кажется, так прадеда звали. Папа рассказывал семейную легенду о том, что во времена молодости Рудольфа и Елены, жены его, моей прабабушки, в имении целый год жил какой-то юродивый слепой, предсказавший прабабушке судьбу всего мира. Правда, подробности пророчества в памяти семьи не сохранилось. А может, его и не стремились сохранить. Я же думаю, сам дом хранит пророчество. До сих пор хранит, несмотря на то, что отец перестроил дом по новому образцу, превратив в настоящий особняк. Сестра живёт тут со всем своим многочисленным семейством: у неё две дочери и трое внуков. Один внук женился уже, скоро правнуки будут. И я в придачу обитаю тут же. Когда умру, им всем станет легче: освободится ещё одна комната и наконец-то перестанет пахнуть краской.

Медленно иду по коридору, и воспоминания сами собой овладевают мной. Они всегда являются без спроса. Стихийно. Всё чаще и чаще. Вот вижу я, как бегу по залитому солнцем коридору. Мне лет десять, наверное. Может, и того меньше. Бегу, потому что чувствую запах бабушкиных пирожков. Сладкий солнечный запах. Вбегаю на светящуюся утром кухню, бабушка оборачивается ко мне и улыбается. По её губам читаю: «Солнце моё, всё готово». Конечно, я ошибаюсь. Я ведь ещё совсем плохо читаю по губам других людей. Я умею видеть, видеть картинами. И в этих картинах — мой мир.

В школе меня учат читать. Читать по губам и читать книги. В книгах образы заменяют буквами, которые складываются в слова. А в словах мы вновь ищем буквы. Ещё хуже уроки, на которых нас пытаются научить говорить. Мы проверяем звуки, прикладывая ребро ладони к гортани, чтобы чувствовать вибрации. Но мне это не нравится. Это неестественно. Естественно мне видеть. Не слово из знаков, а образ. Картину. Поэтому я хочу стать художником.

Тёплая рука сестры возвращает меня на кухню. Здесь всё так же, как и век назад. Почти так же. Тот же дубовый стол посередине, та же кухонная мебель из красного дерева. Только теперь в неё встроены холодильник, газовая плита и микроволновая печь. Люстра тоже на современный лад, со сплющенными плафонами. На тумбе стоит чёрный ящик с экраном — телевизор. Если его включить, то на экране появятся двигающиеся картинки. Сестра и её дети часто собираются у телевизора, иногда даже соседи приходят смотреть. И когда они смотрят, их лица становятся очень смешными. Но они не видят этого — они смотрят в телевизор, а я смотрю на них. Смотрю и смеюсь.

Сажусь за стол: сестра уже налила чай, себе и мне. Остальные члены семьи разошлись каждый по своим делам. Я люблю, когда они расходятся, — так спокойнее. Наверное, это всё возраст.

Чай в стеклянном сервизе горит пожаром, полыхает. Кадмий, охра и краплак. Свет электрической люстры отражается золотым бликом. Когда я была маленькой, из-за проблем с электричеством, бывало, отключали свет, и родители доставали свечи. Перебои с электричеством бывают и сейчас, но домашние включают фонарики. Но свечи... Свечи не просто светят, они дают тепло. Как человеческие руки. Огонь — вот источник настоящего света, а лампы — так, суррогат.

Я помню свой первый урок рисования. Я тогда ещё плохо читала и не знала названий цветов. Чтобы понять мои способности, учитель дал мне задание писать натюрморт. Темперой, кажется. Водной краской. А может, и акварелью. Не помню уже: столько лет прошло. Зато сам натюрморт помню очень ярко. На фоне тёмной коричневой драпировки ярко горел стеклянный графин. В нём был налит сок. Золотистое стекло играло множеством рефлексов, светился блик от лампы. Подле графина лежал жухлый апельсин и маленькое сморщенное яблоко. Всего лишь три предмета и драпировка. Я очень долго смотрела на натуру, прежде чем начать рисовать. Как же это было волшебно! Выражать мир в его естественной форме — в образе, а не в знаке. Писать цветом и чувством, представлять мир так, как я его вижу. Я тогда подумала, что рисование — это самое прекрасное, что я когда-либо делала. Я рисовала долго. Когда учитель подошёл ко мне, он улыбался. Я поняла, что он доволен моей работой.

Затем я стала ходить к нему на уроки. Учитель показывал мне карточки, на которых были изображены правила рисунка и живописи, и поэтапные задания. Он не мучал меня, заставляя читать непонятные слова. Учитель просто показывал картинки с упражнениями, и я рисовала. Иногда он брал меня за руку и моей рукой отрабатывал штрих или с должным нажимом клал мазок краски. Я всё понимала. Я понимала и выражение его лица: доволен ли он результатом, или я совершила ошибку. Его лицо чаще выражало удовлетворение: я делала успехи.

Успехи...

Но не сложилось.

Мешаю серебряной ложечкой чай. Ручка столового прибора украшена вензелями. Серебро играет множеством рефлексов: сестра недавно начистила всю посуду. Сестра ставит на стол тарелку с горячими булочками, она их разогрела в микроволновке. Но запах, запах словно из детства! Будто и не было прошедших лет. Мне кажется, закрою глаза, посижу с закрытыми, стряхну весь морок, что называется жизнью, открою очи вновь, а тут бабушка из настоящей печи достаёт румяные пирожки. Бабушка... Моя младшая сестра теперь бабушка. А скоро будет и пра.

Сестричка улыбается мне, и от её глаз разбегаются солнечные морщинки. Она говорит, что купила сегодня эти булочки, вензельки. Они с каким-то совершенно чудесным кремом. Она мне говорит, а я любуюсь её мягкими руками. Говорит она очень красиво, изящно. Многим из нас, неслышащих, стоит поучиться у неё грации общения, лёгкости жестов. Сестра ради меня выучила этот язык, а я ради неё освоила грамоту. Ведь я — единственная с таким недугом в семье.

Сестра спрашивает, о чём будет моя следующая картина? Я не могу описать, могу лишь сказать название: «Аллегория Огня». Говорю сестре, что она сама всё увидит, увидит первой, ведь она — мой самый любимый, самый преданный зритель на земле. Помню, с каким искренним любопытством она, будучи маленькой, смотрела мои работы. Её лицо выражало неподдельный интерес. Она брала меня за руку своей пухленькой ручонкой, заглядывала в глаза и улыбалась. Если картина была грустной, то сестра, после улыбки, которой она обязательно одаривала меня в знак благодарности за творчество, смотрела на меня с печалью. Если полотно было написано в светлой гамме, то сестра таким же солнечным взглядом глядела на меня. Если

картина ей не нравилась, что тоже бывало, она хмурилась. Но перед тем как хмуриться, улыбалась. Искренне, а не притворно, как другие, знающие о моём недуге. Притворная улыбка жалостлива и вымучена, подлинная же идёт от души. Душа у сестры очень светлая и искренняя. Настоящая. Только сестра могла так искусно передавать своё настроение. Она знала, что я никогда её не услышу. Но мне не нужно было её слышать, чтобы понимать. Но... Я всегда мечтала услышать её голос. И мамин голос. Папин голос. Хотя бы раз. Мне не нужна музыка, может, мне даже не нужен шум ветра или стук дождя: я привыкла к тишине. Но за то, чтобы услышать голоса самых дорогих людей, я бы отдала всё. Всё... В моей безмолвной Вселенной образ сестры — самый яркий и дорогой на свете. Я помню маму, помню папу. Никогда не забуду. Но сестра, она всегда была рядом, и именно ей предстоит остаться. Последней из всех нас. У неё есть дети, но дети — это будущее, это люди грядущей эпохи. А мы уже уходим. И с нами уходит наше время.

Я смотрю в глаза сестре и говорю, что картина будет для неё. Прошу её, чтобы она никогда её не продавала. Сестра с беспокойством смотрит на меня — она чувствует, что это произведение будет особенным. Я улыбаюсь: говорить тайну своей последней картины не буду. Мне кажется, сестра и так всё понимает, и от этого понимания волнуется. Но волноваться не нужно: конец для меня даже радостен, в какой-то мере. Страшно, конечно, но так, чуть. Хотя, лукавлю. Страшно очень, но и радостно тоже. Я не верю в загробную жизнь, в рай или в другие сказки. Мне кажется, мне просто выключат свет, и я растворюсь в вечной безмолвной тьме... Может, я настолько устала, что просто хочу, чтобы это было действительно так.

А вензельки вкусные, даже очень — с заварным кремом и сахаром; чай крепкий, терпкий — как я люблю. Говорю сестре, что начну писать картину завтра. Она кивает и рассказывает, что младший сын старшей дочери планирует поступать в художественный университет. Я согласно закрываю глаза и вижу себя в его возрасте: я тоже готовилась в художественное училище. Я знала, что учиться вместе со всеми будет очень сложно. Но я мечтала стать настоящим художником, даже если для этого пришлось бы ещё больше страдать. Так и вышло. Только вот настоящим художником я всё равно не стала.

Помню, как папа купил мне первый мольберт, когда я поступила в училище. Из светлого дерева, с медными гвоздиками-креплениями. Мольберт пах свежим деревом, будто только выстругали. Я тогда очень радовалась.

Сестра говорит о внуке своими красивыми руками. Говорит о фирме зятя, об очередной пассии внучки, и о том, что мир изменился, и она его уже не узнаёт. Отвечаю ей, что мир меняется постоянно, но однажды перестаём меняться мы. Отвечаю, а сама думаю о том времени, когда ещё мечтала измениться я.

Первый год училища был тяжёлым. В школе для глухонемых я была как все, другими были учителя. Теперь другой была я. Но это был мой сознательный выбор. Преподаватели училища знали о моём недуге, я была особенной ученицей. Ученицей, на которую смотрят с сочувствием, которую учат иначе. К таким, как я, нужен специальный подход. Более всего меня расстраивало то, что мне завышали оценки. Остальные студенты очень ревностно ко мне относились, ведь я была далеко не лучшей в художественном ремесле. Но я очень хотела научиться. Я помню ночи без сна, когда рисовала напролёт. Я хотела соответствовать своим отличным отметкам. Я ещё верила в то, что могу разрушить стену между мной и остальным миром, разрушить искусством, написать краской о своих чувствах. Эти ночи — самые счастливые в моей жизни. Днём я была одинокой, а дома за мольбертом мне казалось, что всё возможно изменить.

Сейчас так думают сестринские внуки. После прожитых лет понимаешь, что, наверное, недуг здесь даже не при чём. Существуют успешные слепые певцы и инвалиды-паралимпийцы. Существуют гении, здоровые и умные, но умирающие в бедности и безызвестности. Сейчас я думаю, что у меня так и не хватило духа выбрать себя. Кто смог поверить в себя, искренне поверить, тот оказывается выбранным другими. И никак иначе.

Зачем-то рассказываю свои мысли сестре. Она хмурится и отвечает, что она не столь категорична. Она полагает, что есть вещи более масштабные, чем то, что наполняет нашу жизнь. Она верит в Бога и в то, что у всего происходящего есть смысл. Даже у самых незначительных поступков. Даже у несправедливых трагедий. Даже у самой смерти. Просто мы не в состоянии понять его.

Я пытаюсь улыбаться, но предательские слёзы подступают к горлу. Свой великий смыл я так и не нашла. Я не могу принять то, что все страдания этой моей единственной жизни не напрасны и ведут к какому-то высшему плану бытия. Думаю о том, что верующим живётся легче. Но как научиться верить? Я бы очень этого хотела.

Делаю глоток и отламываю кусочек вензелька. Руки трясутся. Заварной крем капает на тарелку и растекается по белому фарфору маленькой лужицей. Если рассуждать как сестра, значит, крем капнул не случайно? И лужица на тарелке необходима этому миру?

Сестра улыбается и говорит, что всё так и есть. Она говорит, что впервые подумала об этом, когда умер её муж. Жизнь виделась ей страшно несправедливой: он ушёл, а она осталась — осталась одна с детьми и инвалидом-сестрой. Сестра мне говорит, что через сорок дней после смерти ей приснился покойный муж. Она никому прежде не рассказывала этот сон. Сон, который был настолько реальным, ярким и живым, что сестра удивилась, когда проснулась в настоящем мире. Во сне муж взял её за руку и сказал, что жизнь земная — лишь миг. И что они ещё обязательно встретятся. Обязательно. Ей надо просто немного подождать. Сестра смахивает навернувшуюся слезу. Знаешь, говорит, он сказал это по-настоящему. И рука его была тёплая, живая. И тогда я поверила.

Я ничего не отвечаю. Я допиваю чай. Сестра тоже не поднимает рук для разговора. Мы молчим в полной тишине. В стеклянном заварнике чай горит пожаром; на белом блюдце застывает капля заварного крема. Кто знает, быть может, ничего важнее этого самого мгновения действительно не существует. Мгновения, в котором мы, две сестры из прошлого, пьём терпкий чай настоящего. И капля застывшего крема — есть событие, которое послужит отправной точкой для новой истории. Вечной истории о нас.

Я медленно поднимаюсь, целую сестру и иду в свою мастерскую. Нет, сегодня я не буду писать картину. Просто там, в мастерской, я чувствую себя дома. Дома, среди своих картин. И среди книг. Кто бы мог подумать, но с возрастом я полюбила это ужасное занятие — чтение. Теперь я понимаю, зачем мне пришлось тратить столько времени на его освоение. В юности не понимала, книга была для меня пыткой. Но сейчас...

Прохожу гостиную. За большими окнами алеет закат. Если бы я могла слышать, то, наверное, услышала бы шум берёз. В книгах я читала, что такой звук называют шелестом. Шелест листвы. Интересно, как это?

За гостиной начинается маленький коридор, который ведёт в мастерскую. Стеклянную, но тёплую веранду. Её для меня переделал папа, когда я, будучи ещё школьницей, серьёзно занялась рисованием. Папа очень любил меня. Как и мама.

Папа сделал так, что из веранды можно сразу попасть в мою комнату, которая на первом этаже. Для этого отец вырезал в стене веранды дверь, и мой путь в храм искусства стал короче. Храм искусства. Так веранду назвал папа. Он плохо освоил язык немых, он писал мне записки, которые я переводила на язык жестов. Так я практиковалась в ненавистном чтении, а папа старался выучить жестовый язык. Золотое было время, не смотря ни на что.

Открываю чуть покосившуюся дверь веранды. Храм искусства благоухает ароматом масляных красок и растворителей. Для кого-то этот запах кажется невыносимым, но для меня — самый лучший аромат на свете. Так пахнет творчество. Это запах моего беззвучного мира, моей тихой Вселенной. Аромат моей мечты.

Первый просмотр в училище. Мы развешиваем работы. На серую ткань, в паспарту. Со мной папа, помогает. Но мне стыдно. Все ребята развешивают свои работы сами, а со мной

пришли родители. Я вижу, как они общаются, что-то говорят, показывая на мои рисунки. А я не слышу. Не понимаю, о чём беседует мой папа с другими студентами. Иногда они улыбаются. Некоторые слова мне удаётся разобрать по губам, но в единый образ они не складываются: люди говорят слишком быстро. Они говорят, а я — так, у стенки стою. Стою и смотрю. А папа — с ними. Папа с ними. Я никогда прежде так не думала. Но сейчас я вдруг это поняла: мои родители, они вместе с ними. Вместе с остальными. Мои родители принадлежат миру. А я — одна в этом царстве вечной тишины. И за это я ненавижу их. Ненавижу себя. Ненавижу, что они улыбаются, ненавижу, что им понятно, ненавижу... Ненавижу! Слёзы стоят в горле комом, но я, сжав кулаки и стиснув зубы, сдерживаюсь. За что мне всё это? Почему я? Чёрт возьми, и это только начало! Моя жизнь только начинается. Лучше бы не рождаться. Я так не хочу. Я больше не могу. Не могу!

Я выхожу из аудитории и бегу по коридору. Кто-то пытается остановить меня, но я вырываюсь. Бегу по лестнице на пятый этаж, самый высокий этаж училища. Забегаю в коридор, пробегаю его и оказываюсь в холле. Ни души. За большими окнами ярко светит солнце и искрится декабрьский снег. Ярко так, пронзительно. Подбегаю к окну, хватаюсь за ручку и замираю: насколько прекрасна зима... Лазурное небо и кристально чистый воздух. Крыши домов отражают солнце, а узор из веток деревьев сверкает серебром. Смотрю вниз: дорогу, огибающую здание училища, расчищает дворник. Расчищает метлой: пушистый снег лёгок и податлив. Будто ощутив на себе мой взгляд, дворник останавливается и поправляет шапку. Смотрит наверх, пожимает плечами и возвращается к своей работе. А я понимаю, что не могу. Не могу прыгнуть. И тут слёзы вырываются из меня. Я не могу. Не могу... Медленно опускаюсь вниз и закрываю руками голову. Я настолько слаба и бездарна, что даже не могу покончить со своими мучениями.

Тут чья-то ладонь ложиться на моё плечо. Я поднимаю взгляд — папа. Он с любовью и беспокойством смотрит на меня. Его руки спрашивают, что случилось? Я знаками отвечаю, что ничего. Ведь я не могу рассказать ему, что только что хотела прыгнуть из окна. Да и сейчас, наверное, всё ещё хочу. Просто у меня не хватает смелости, папа. Не хватает духу причинить вам с мамой столько боли. Хотя, не легче ли вам было бы без меня? Но я молчу. Я берусь за папину тёплую ладонь и поднимаюсь. Папа обнимает меня, а я складываю руками «прости».

Прости меня, папа. Сейчас мне очень стыдно перед тобой за то, о чём ты никогда не узнаешь. Но мы с тобой скоро встретимся, я всё тебе расскажу, и мне станет легче. Я надеюсь, что смогу поверить. Поверить до того, как мне, наконец-то, выключат свет.

Захожу на веранду. Со временем мастерская превратилась в склад моих картин. Работы хранятся везде: у стены, напротив окон, под самими окнами и на стеллажах. За всю жизнь я продала всего несколько работ. Кто же станет покупать живопись у бездарного самоучки? Диплом я так и не получила... Иногда мне кажется, что два года, проведённые в училище, были просто сном. Сном о нелепой надежде и глупой мечте. Но я мечтаю до сих пор. Думаю, не только я. Моя сестра до сих пор мечтает проснуться и увидеть рядом с собой человека, которого не стало четверть века назад. Думаю, даже смерть не может забрать мечту. Поэтому в мастерской всё ещё пахнет маслом и стоят мольберты и неразобранные натюрморты. Гипсовые головы и даже статуя Венеры. Здесь живёт моя мечта. Я уйду, а она останется. Она будет жить вечно. Вместе с той легендой, которую оставил здесь век назад юродивый слепой.

Впервые о слепом мне рассказала мама, она лучше папы владела языком жестов. Я тогда училась в начальной школе. Мы с мамой сидели на диване, в гостиной. Я делилась с мамой переживаниями о том, что никогда не смогу научиться читать, никогда не смогу общаться с другими людьми и никогда не смогу нормально жить. Я часто плакала из-за своей болезни. Чем старше я становилась, тем яснее понимала, какая пропасть отделяет меня от остального мира. Были в этом мире ещё такие, как я, были. Но я не хотела быть как они, не хотела быть особенной. И тогда мама рассказала мне семейное предание. Маме легенду поведал папа, а

мама рассказала историю мне. Мама села напротив меня и вскинула руки. Даже мамины руки не обладали той грацией, которой наделена сестра. Мама говорила размашисто и резко, отрывисто. Часто думала над тем, как сказать. Но она говорила. Как мне не хватает тебя, мама. Твоих резких движений и мягкого лица. Солнечного запаха твоих волос и доброй улыбки.

Знаешь, сказала мне мама много лет назад, даже слепые видят мир. Иначе, но видят. У папиного деда останавливался слепой. Странствующий святой, который путешествовал по миру, будучи незрячим. Представляешь? Он странствовал в полной темноте. И он мог предсказывать грядущее. Твой папа говорил, что слепой странник предсказал судьбу мира его бабушке, Елене. Правда, самого предсказания Елена не сохранила. Ты, наверное, думаешь, что это сказка, что так не бывает. Но слепой тоже видит, просто не так, как мы. Его мир — это запахи, звуки и осязание. Его мир не менее прекрасный, чем мой или твой. Ты тоже слышишь мир. Слышишь через образы, через запахи, слышишь через улыбки и глаза. Не забывай об этом. Ведь самое главное — это не слова, а суть. И эту самую суть ты видишь. Ты видишь.

Наверное, именно это предание и помогало мне жить дальше. Жить, когда моё бытие превращалось в невыносимую пытку. Мне помогали несколько слов о человеке, которого я никогда не видела, а быть может, которого никогда и не существовало. Он даже сделался героем моих картин. Слепой путешественник, бредущий из ниоткуда в никуда. Сейчас, в свои восемьдесят с лишним лет, я думаю, что все мы — слепые путешественники. Все мы бредём из ниоткуда в никуда, стараясь, по мере сил, наполнить своё существование вымышленным смыслом.

Я медленно бреду среди своих картин. Полотна с несуществующими мирами внутри. Пронзительно-синее небо, а рядом — горящий медным пожаром закат. Недописанный натюрморт и портрет сестры. Странник и Королева. А я-то думала, что их гораздо больше. Как мало я оставляю своей мечте. Как мало.

Захожу в свою комнату. Включаю свет. Сюда я не пускаю время. Здесь храм моей тишины. Маленькая кровать, старый шкаф и всё те же картины. Краски и мольберты. Когда веранда перестала вмещать мои инструменты, в мастерскую превратилась и часть моей спальни. Благо, никто из семьи сюда не заходит. Здесь даже остались старые обои, и на потолке облупилась извёстка. Но я не хочу делать ремонт: потолок белили папины руки, а обои клеили мы с мамой. Для меня эти воспоминания дороже самого современного ремонта. В этих старых стенах моя золотая страна. Моя потерянная Шамбала.

Сажусь на кровать, и мой взгляд падает на картину напротив. Она прислонена к батарее под окном. На картине среди серых песчаных дюн бредёт слепой странник. Его мир погиб давным-давно, но он этого не видел. Он, как и я, никогда не слышал пения птиц. Он слышит, как и все, но его мир немой. У самого горизонта, на безликом небе, клубятся облака. Но дождя не будет. Будет идти снег, больше похожий на пепел. Небесный пепел укроет мёртвую землю до лучших времён, которые никогда не наступят. Над этой землёй уже не взойдёт солнце. Но слепой ничего не увидит. Он будет жить в своей вечной тьме, жить и верить в то, что никогда не существовало. Он будет строить мир там, где его никогда не было. Он будет жить так же, как и все мы.

Этого странника я написала в конце второго курса училища. В то время он был моей любимой работой. Но учителя меня не поняли. Они попросили не приносить странника на итоговый просмотр. Написали мне на листочке, что эта работа годится только для творческой выставки, что она не академична. Я тогда спросила, а как же чувства? Разве смыл искусства не в том, чтобы взывать к душе? Ответом мне было, что необходимо освоить изобразительную грамоту, а уже потом обращаться к душам. При этом многие из комиссии как-то странно улыбнулись. Я написала вновь: разве развитие образности в работах не должно идти параллельно с развитием академического мастерства? Но профессора были непреклонны. На просмотр приносить работы строго по заданиям.

Сейчас я их понимаю. Удивительно, но понимаю. Но тогда я чувствовала искреннюю обиду: они отвергли мой мир. Это была моя первая творческая работа, которую я представила комиссии. И они её не поняли. Они не поняли меня.

После просмотра был праздник. Маленький студенческий праздник, на который я не пошла. Я никогда не ходила на студенческие праздники — мне хватало дневного обучения. Но именно тогда, в день того самого просмотра, одногруппницы пришли за мной. И родители их пустили. Помню: сижу на кровати, как и сейчас, ко мне заходит мама, а с ней две сокурсницы. Мама говорит жестами, что девочки приглашают меня на праздник. Девочки улыбаются, а я вижу усмешки вместо улыбок. Почему они решили дружить со мной только через два года? Прошу маму перевести им. Мама хмурится, но исполняет мою просьбу. Девочки меняются в лице: от их фальшивой радости не остаётся и следа. Я смотрю на их неубедительные попытки объяснить происходящее маме и улыбаюсь так же, как минуту назад улыбались они: я-то знаю, что за мной их послали учителя. Девочки не хотели идти, не хотели звать меня.

И тут мною овладевает чёрная злость. Последнее время я всё чаще её испытываю. Её и обиду. Обиду на весь несправедливый мир. Они все притворяются: учителя, которые смеются над моими работами, а для моих родителей ставят отличные отметки; ребята, которые приходят за мной только по просьбе учителей; люди, которые за искусственными улыбками неумело прячут жалость и презрение. Я не могу слышать, но я вижу. Вижу то, что не видят остальные, или не хотят видеть. Ложь. Кругом одна ложь. Слёзы душат меня, слёзы и ненависть. И я не выдерживаю. Я встаю с постели и пытаюсь кричать. Прикладываю к горлу ребром руку и чувствую, насколько сильны вибрации. Вибрирует не только моё горло, мне кажется, дрожит весь мир. Чтобы не видеть его дрожи, зажмуриваюсь и кричу в полной тишине. Кричу и ничего не слышу. Кричу и чувствую, как по щекам текут слёзы.

Больше в училище я не пошла. Убедила родителей забрать документы.

Но рисовать я не перестала. Родители даже пытались организовать моё надомное обучение, чтобы у меня был диплом. Но не вышло. Получилось только нанять учителей. Родителям я за это очень благодарна. Учителя часто мне говорили, что продолжить обучение в училище никогда не поздно. Это вселяло надежду. Я каждый год готовилась к поступлению, чтобы не поступить никогда. Правда, тогда я ещё не знала об этом — не знала, что проживу всю жизнь в своей келье. Каждый год я ждала чуда, каждый год надеялась, что всё изменится, у меня хватит смелости, и я выйду в мир...

Чувствую, как немощное тело морит сон. За окном почти стемнело, но ещё рано. Совсем рано. И пусть. Значит, сегодня лягу спать рано.

Встаю, чтобы выключить свет. Ложусь. Постепенно глаза привыкают к полумраку, и очертания комнаты проявляются из тёмного воздуха, как привидения. Привидения окружают меня, колышутся. Они — мои вечные тени. Призраки моего прошлого.

И среди них я вижу утро. Чистое и прозрачное. Сочная зелёная трава простирается до самого горизонта. А в траве растут маленькие ромашки, их головки безмолвно дрожат на ветру. Ромашковое поле пересекает лента голубой реки, которая переливается в небо, как краска из тюбика. Лазурная и виридоновая зелёная. Белила и неаполитанская жёлтая.

На правом берегу — берёзовая рощица. Листва — кобальт зелёный тёмный, стволы — белила и сажа газовая. За рощей — деревня из белоснежных домиков. Их недавно построили. Натянули, как палатки. Когда темнеет, и в деревне включают свет, домики становятся похожими на светлячков. На фоне ультрамарина неба — кадмий жёлтый и лимонная. Вспоминается «Звёздная ночь» Ван Гога. Интересно, он тоже видел маленькую сказку?

Но пока ещё утро. Темнеть будет не скоро, и не скоро напишет свой шедевр мастер. А пока я спускаюсь с холма и иду вдоль реки. Свежий ветер лёгок и мягок. Он нежно гладит меня по голове, как мама в детстве. Пока иду, думаю о том, что надо взять из библиотеки книгу, хочу ещё раз прочитать про импрессионистов. На ум приходят слова Ги де Мопассана из его

«Жизни пейзажиста»: «Порой я останавливаюсь в изумлении перед ослепительными вещами, о которых никогда не подозревал. Посмотри на деревья и траву, ярко озарённые солнцем, и попробуй их написать... Надо уметь видеть, или, вернее, уметь открывать».

Надо уметь открывать. Да. Надо уметь открывать. Останавливаюсь и вдыхаю полной грудью. Господи, как же хорошо. Лучше не бывает.

Иду сквозь берёзовую рощу. Кроны молодых зелёных деревьев волнуются наверху: наверное, они шелестят. Так пишут в книгах, что листья шелестят. И сквозь листву пробиваются солнечные лучи. Свет струится водопадами, колышется, словно лёгкий тюль на ветру. Только вот я не слышу. Я никогда ничего не слышу. Вечная тишина искрящегося света сменяется россыпью алмазных звёзд. Я замираю, насколько прекрасна ночь. «Звёздная ночь» Ван Гога.

Меня привезли на выставку. Шедевры на фоне молочно-белых стен. Печаль будет длиться вечно[4]. Как мне близки эти слова, произнесённые мастером перед смертью. Даже если Ван Гог их и не говорил, даже если Теодор Ван Гог[5] их придумал, они — моя истина, вечное состояние души, пленённой тишиной.

Иду по галерее картин, по галерее вечности. В каждом полотне — свой слепок мира. Мира, в котором была создана картина. Например, Рафаэль. Его полотна дышат неспешностью времени, поэзией образа, недоступного настоящему миру. Или улыбка Джоконды. Разве можно познать вечность, потеряв себя в лабиринтах времени? Что мы приобрели и что потеряли? Но я вижу чудо. Чудо. Настоящее чудо — иметь возможность заглянуть на несколько веков назад или вперёд. Время в галерее относительно. Наверное, его здесь просто нет. Нет границ — только душа и образ мира. Того самого мира, что существовал когда-то, но которого уже нет и никогда не будет.

Художник — вечности заложник. Твоя кисть мгновение запечатлеть должна.

Надо же, думаю стихами. Чувствую ритм. Как такое возможно?

И тут я останавливаюсь: в белом зале вижу полотно. Мир на нём полыхает пожаром. Не губительным пожаром, а другим, живым. Пламя обнимает умирающий город, поедает его, но только лишь для того, чтобы воскресить вновь. Чтобы начать сначала, переписать грустную историю. Мир воскреснет в огне, а хан отстроит заново свой дворец нетленный. И сквозь языки пламени я вижу его. Человека, к которому я так и не решилась подойти. Человека, который даже не знает о моём существовании. Человека, которого я до сих пор люблю. Всегда любила и любить буду. Такое вот у меня проклятие.

Невольные слёзы душат, подступают к горлу тяжёлым комом. И я не выдерживаю, я открываю глаза.

За окном — рассвет. Пепельный, облачный. Сегодня будет дождь. Не знаю, откуда у меня такая уверенность. Но мне кажется, что обязательно будет дождь.

Перевожу взгляд на часы — половина шестого утра. Домашние ещё спят. Но я уже не усну, вчера я легла рано. Дверь в комнату приоткрыта — значит, вчера приходили звать меня к ужину, но решили не будить. И я не буду их будить. В моей мастерской есть электрический чайник и, кажется, печенье. Для завтрака вполне сойдёт.

Поднимаюсь и застилаю кровать. Я не помню своего сна, но кажется, этой ночью мне снилось нечто особенное. Сон в ночь перед тем днём, когда я начну писать свою прощальную картину.

Вхожу в мастерскую. Тут прохладно, даже зябко. Холодный свет рассвета тускло освещает мебель и картины, теряется в мягких глубоких тенях. Но я не включаю свет. Я ставлю

[4] Слова Ван Гога перед смертью

[5] Теодор Ван Гог — брат Винсента Ван Гога

чайник и насыпаю прямо в кружку чай. Нахожу в шкафу печенье и устраиваюсь у маленького столика подле решётчатого окна.

Была у меня в жизни целая эпоха пленэров. Мне тогда было немногим больше двадцати. Я решила готовиться к поступлению в университет. Надеялась, что хватит духу. Поэтому ходила на пленэры не только на природу, но и ездила в город. После своих городских прогулок с блокнотом, перед тем, как идти на вокзал, дабы возвратиться домой, я заходила в кафе с большими окнами, что находилось недалеко от вокзала. Там я располагалась у окна и, пока ждала кофе, делала быстрые зарисовки улицы. Волшебные были мгновения. В кафе пахло свежей выпечкой, а убранство было тёплым, деревянным. Очень уютно, и кажется, что всё хорошо. И даже не смущает тишина. За окном — городская суета, крутится, как кинолента. А ты сидишь в совершенно другом мире, мире тихом и спокойном. Сидишь и останавливаешь время — рисуешь. Эти свои наброски я называла зарисовки состояний. «Лето. Знойный полдень». Или «Дрожащая суета». Были ещё «Обеденный перерыв», «Бег», «Меланхолия города», «Скука», «Солнечный свет». Больше сейчас и не вспомню. Я подписывала свои работы на обратной стороне.

Иногда я тайком рисовала посетителей. Особенно интересны были лица пожилых, а ещё лучше — старых. Они у меня получались лучше всех. Колоритные, хара́ктерные. Сейчас я понимаю, почему. Тогда же я просто рисовала.

Тот день я помню особенно ярко, как будто это было вчера. Или как будто это происходит сейчас. Сейчас я рисую город так долго, что даже пропускаю свою электричку. Следующий поезд только в девять вечера. Прихожу в кафе и располагаюсь у своего столика у окна. Яркое летнее солнце заливает город: отражается золотом в стёклах многоэтажных домов, освещает едущие машины и вечно спешащих людей. Ко мне подходит официант, и я показываю на любимые блюда в меню. Официант вежливо улыбается, уходит, а я достаю альбом. Беру карандаш и замираю: в кафе входит компания молодых людей. Три девушки и два молодых человека. Мои ровесники, улыбаются. Солнце, преломлённое стёклами кафе, играет в их волосах. И среди них — он. Я не знаю, что в его внешности меня так зацепило. Я бы не сказала, что этот человек особенно красив. Он — как все. Только другой. Будто я его знаю, несмотря на то, что впервые вижу. Нет... Я его всегда знала. Какое странное, щемящее чувство. Молодой человек высокий, у него тёмные вьющиеся волосы и немного грустный взгляд. Мне чудится, будто в его чёрных глазах — целая Вселенная. Он улыбается и что-то говорит девушке с пепельными волосами, которая держит его под руку. Они садятся за столик у стены, а я начинаю его рисовать.

Приносят заказ, но я не опускаю карандаш. Я останавливаюсь лишь тогда, когда портрет закончен. И тут я понимаю, что он смотрит на меня. Я так откровенно рисовала, что привлекла его внимание. Непозволительная оплошность. Красивая девушка с пепельными волосами кладёт руку ему на плечо, и он переводит на неё взгляд. Он ей что-то говорит, и теперь они оба смотрят на меня: она с любопытством, а он как-то иначе. Я не могу описать его взгляд, но мне кажется, что он меня тоже узнал. Но этого не может быть, это лишь моя фантазия. Меня сковывает ледяным страхом. Если он или она подойдут ко мне, я даже не смогу ничего сказать. Унимаю панику и с трудом отвожу взгляд. Вырываю из альбома рисунок, кладу его рядом с чашкой недопитого кофе. Быстро собираю вещи и выхожу на улицу.

Быстро иду к вокзалу, иду не оглядываясь. Кровь стучит в висках. Взбегаю по лестнице, сливаюсь с толпой. Когда массивные двери вокзала остаются позади, перевожу дух. Подхожу к окну: никого. Поток людей течёт как обычно. Облегчение смешивается с разочарованием. На что я надеялась? Какие глупости рисовала в своём наивном воображении?

Больше в то кафе я не ходила.

За окном мастерской совсем рассвело. Сизое небо затянуто облаками, а деревья качаются на ветру. Скоро, совсем скоро придёт огненная осень.

Сейчас я жалею, что оставила портрет на столике. Ведь я даже не помню его лица. Какой порыв заставил меня так поступить? Утаённое от самой себя желание, что он бросится за мной? Юношеская глупость. Сейчас я уверена в том, что мой рисунок достался официанту. Достался вместе с хорошими чаевыми: ведь я даже не забрала сдачу.

Встаю из-за стола и подхожу к пустым холстам. Беру самый большой, почти метровый. Он уже натянут на подрамник, загрунтован. Пора.

Надо бы позвать кого-нибудь на помощь, но я не хочу. Невероятными усилиями поднимаю холст на мольберт. Когда-то это было для меня легко.

Беру палитру и краски. Растворитель.

Беру кисть и начинаю рисовать.

Рисовать с такой лёгкостью, с которой никогда не рисовала. Мне даже не нужен эскиз: кисть сама ведёт меня. Ведёт через воспоминания.

Каждый мазок — это боль. Боль несбывшегося и неслучившегося. Боль о том, что могло бы быть. Боль о том, чего никогда уже не будет.

Я никогда не окончу училище и никогда не поступлю в университет. Я никогда не пойду на студенческий праздник, и у меня никогда не будет друзей.

Я никогда не скажу папе «прости».

Я никогда не приду в кафе с большими окнами.

Я никогда не узнаю, кто он, тот человек, которого я нарисовала.

Я никогда не вспомню его лица.

Я никогда не стану художником.

Я никогда не исполню свою мечту.

Я никогда...

Никогда.

Но пока я живу, надежда есть. Есть надежда создать то, чего ещё нет.

Даже мгновение стоит этого. Мгновение, которое я проведу, как настоящий мастер — с кистью в руках. Проведу так, как будто нет этого «никогда», проведу с надеждой.

Я больше не спешу и не останавливаюсь. Днём я обедаю со своей семьёй, а вечером вновь отправляюсь в мастерскую. Утро провожу в размышлениях над картиной и пишу. Пишу до тех пор, пока дочка сестры не приходит звать меня к обеду. На одном из ужинов она мне сказала, попросив перевести сестру, что заметила, будто я стала больше улыбаться. Сестра при этом тоже как-то странно улыбнулась и предположила, что я, наверное, поверила.

Право, не знаю, поверила я, или нет.

Я приняла своё «никогда» и мне захотелось писать стихи. Странно даже. Я же их никогда не услышу. Но я просто буду писать ради того, чтобы писать. Не больше и не меньше. Даже если мои стихи никто никогда не прочитает. И рисовать я буду только ради того, чтобы рисовать. А жить — ради того, чтобы жить. Сколько бы это «жить» не продолжалось. Кажется, это называется счастьем.

5.

А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.

Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

Библия. От Матф. 44-45.

XXII век, 85-90 лет после Вторжения.

Отдел терраформирования белый, как снег. Интересное, однако, сравнение. Снег я видела только на фотографиях. И он не самый белый. Стены моей лаборатории намного белее. Стены лаборатории терраформирования. Заимствованная технология, доработанная. Переключаю экраны на зелёно-голубой застывший пейзаж. Бесконечное поле травы и пронзительная синева небосвода. Хоть немного как раньше. Правда, этого «раньше» я никогда не видела. Белые стены нравятся нашему профессору, меня же они гнетут. Невыносимо давят, как и всё в этом искусственном мире. Хотя, другого я никогда не знала.

Подхожу к компьютеру и включаю Вивальди. «Времена года», «Весна». Не могу работать в тишине, она меня угнетает. Слушаю и иду к берёзовой роще. Улыбаюсь: мы смогли вырастить берёзы — настоящую рощу в искусственном зале. Чудо. Иду и сквозь аллегро слышу перезвон птиц. Даже замираю, насколько оно прекрасно. Представляю, как всё могло бы быть. Быть на самом деле.

Подхожу к саженцам, сканирую корневую систему, беру образцы. Всё в норме — мои маленькие берёзки здравствуют. Добавляю в почву удобрение, подключаю полив и иду дальше. Меня встречает мой любимый сад. В саду — цветы. Каждый вид — на отдельной грядке. За садом начинаются теплицы. В них жарко и растут помидоры, огурцы, перцы. Затем — зал с деревьями и кустарниками: небольшая рощица средней полосы. За рощицей — пшеница. Маленькие пшеничные поля. У пшеницы очень забавные усики. Следующая галерея — тропическая. Здесь очень жарко и растут пальмы. Я снимаю серую водолазку и остаюсь в майке. Сладко пахнут магнолии. Розовые и бело-жёлтые, с глянцевыми листьями. Замираю: на одном из плотных листов дрожит хрустальная капля. Тихо, едва дыша, подношу ладонь, и капля скатывается на кончик моего пальца. Закрываю глаза и пью. Вода сладкая, не такая как из крана. Она живая. Не знаю, что бы я делала без своего сада. Мои питомцы растут в кадках, которые стоят непозволительно правильно, рядами. А так хочется, чтобы они расправили корни в живой настоящей земле.

— Ты опять за своё? — раздаётся позади весёлый голос, и я невольно вздрагиваю. Оборачиваюсь и улыбаюсь: мама. Она стоит у двери и укоризненно качает головой. — Ты же учёный, должна понимать, что есть и пить в оранжерее опасно.

— Неужели? — смеюсь.

— Подхватишь какую-нибудь инфекцию или погубишь растение, — мама забавно хмурится и идёт ко мне. Сейчас начнёт рассказывать что-нибудь из вирусологии, и я сойду с ума. Чтобы не допустить её любимых лекций, иду навстречу.

— Хочешь увидеть чудо? — спрашиваю и беру маму за руку. Она в замешательстве, а я говорю ей, что её страхи — ерунда. Что надо перестать бояться. Мама смеётся и говорит, что я ещё слишком юная. Я пожимаю плечами и веду маму сквозь тропический лес в северную галерею. Она — самая большая. Тут холодно и пахнет соснами. Запах хвои свежий, он даже щекочет. Я в одной майке, мама отдаёт мне свою куртку и обнимает. Говорит, что так легче согреться. Но я-то знаю, почему мама обнимает меня. И я обнимаю её. Мы идём меж сосёнок, туда, где в длинных кадках, между кустами, растёт лесная земляника. Мой маленький секрет. Для ягод и плодовых у нас отдельные теплицы и оранжереи, но я не выдержала и поселила землянику в лесу. А также маленький куст малины. Когда они дали первые плоды, у меня был настоящий праздник. В жизни ничего вкуснее не ела.

Я аккуратно открываю заросли и показываю алые ягоды. Мама удивляется. Она смотрит на меня, и в её глазах читается испуг.

— Как по правде, — шепчу и улыбаюсь. — Ягоды в лесу. Разве не чудо?

— Но это же запрещено! — возмущается мама. — Нельзя смешивать разные виды. Ты нарушила санитарные нормы!

Я её не слушаю, наклоняюсь и срываю ягоды. Землянику, а затем, малину. Протягиваю ягоды маме и говорю, что в малине есть косточки, но их можно есть. Мама смотрит на меня с

опаской и говорит, что кушать немытые ягоды опасно — можно подхватить инфекцию. Говорит, надо питаться правильно, как все: обработанной пищей. Мама говорит, а я не слушаю и ем. Она замолкает и смотрит на меня. Затем, с опаской, на ягоды в моей ладони. Берёт одну, малину, и кладёт в рот. Жуёт, и я вижу, как меняется её взгляд. Она понимает, о чём я говорила.

— А теперь, — шепчу маме на ухо, — давай посмотрим ромашки. Они похожи на маленькие солнышки. На маленькие земные солнышки.

Мама улыбается, целует меня в лоб. Она берёт меня за руку, и я чувствую её родное тепло. Мама гладит меня, и я открываю глаза.

Сухой ветер поднимает края серого тента, и всё пространство заливает невыносимый солнечный свет. Жара. Грязный брезент опускается, и свет меркнет. Вокруг летают жёлтые звездочки. Издалека доносятся голоса. Ветер вновь поднимает брезент палатки, и на этот раз вместе с пронзительным солнцем приносит песок. Сквозь боль я смотрю на светящиеся края ткани. Порыв ветра почти полностью открывает дверь в мой маленький мирок, я не выдерживаю ослепительного света и закрываю глаза.

Напротив меня сидит Ребекка. Милая Ребекка. Мы вместе ходили на завтраки, ели в белоснежной столовой. Как и все на ковчегах. Я любила садиться у окна-экрана с цифровым миром внутри. Иногда экраны показывали море. Я люблю море. Тебе, правда, больше нравятся горы. Поэтому, когда ты приходила в гости в мою каюту, я переключала родительские берёзы на твои любимые горные хребты. Помню, когда мы были маленькими, мы воровали из столовой еду, приходили в каюту, включали горы и представляли, будто отправились на пикник. Когда мои родители узнали о наших проказах, они рассказали твоим, и мы все вместе устроили большой семейный отдых на природе. Я никогда не забуду тот день. День, когда я была счастлива.

— Кто такая Ребекка? — спрашивает сиплый голос с сильным акцентом.

С трудом открываю глаза и поворачиваю голову: рядом со мной, недалеко от входа в палатку, сидит мужчина. Собрав все силы, стараюсь его разглядеть. Человек весь в лохмотьях, обросший. Кажется, подле него лежит оружие. Только не могу понять, какое. Никогда такого не видела — похоже на древнее ружьё.

— Подруга, — отвечаю. Голос режет пересохшую гортань, и я прошу воды.

Человек смеётся и качает косматой головой.

— Ты за день пила воды больше, чем я выпил за всю свою жизнь! Антибиотики у вас там, да? Даже водопровод, слышал, есть. А мы тут дохнем, как крысы, — он поднимает своё оружие и направляет на меня. — Кто такая Ребекка? Отвечай!

Наверное, я должна испугаться. Но то ли нестерпимая головная боль, то ли невыносимая жара так действует: я просто кладу голову обратно и устремляю взор в потолок. На коричнево-серой ткани распускаются грязные пятна, будто цветы. Серые, коричневые, бурые. Некоторые похожи на запёкшуюся кровь. Как на потолке могла оказаться кровь?

— Отвечай! — повторяет голос, а я не могу пошевелиться. Пусть стреляет. По крайней мере, мёртвые не чувствуют боли.

— Зак, ты с ума сошёл? — доносится издалека другой голос, и я слышу, как опускается ружьё.

— Да зачем с ней возиться? — хрипло огрызается Зак. — На мясо — и дело с концом. Я бы их всех оттуда перестрелял. Чёртовы землеройки.

Землеройки. Это, видимо, ко мне. Папа иногда в шутку называл нас землеройками. Он говорил, что нельзя забывать, откуда мы. А мы — с поверхности. Значит, я наверху?

Такой свет может быть только наверху. И жара. На ковчеге не бывает жарко. Сейчас же удушающе жарко и ослепительно светло. Как во время взрыва. Взрыв. Оглушительный взрыв и пожар. Кажется, подбили наш бронеход. И, кажется, это были не иные: я не помню гула истребителей. Я ничего не помню. Хотя... Кажется, меня направили в Вавилон. Меня и ещё четверых учёных. Вот только не помню зачем. Кажется, для участия в проекте, как-то связанным с «Ара-

ратом». Со мной ехала Ребекка, она тоже биолог, ещё был Том, физик. Помню Александра, химика, и Зульфию, инженера. Нас сопровождал отряд солдат. У них было своё задание.

— Пить будешь? — спрашивают.

Чувствую, как к губам подносят стакан. Делаю глоток и закашливаюсь: вода тёплая, горькая, маслянистая. Воняет.

Смех.

— Другой воды у нас нет, — отвечает голос, и я открываю глаза. Рядом сидит молодой человек, примерно моего возраста. Его кожа смуглая от палящего солнца, одежда просаленная, а свалявшиеся волосы собраны в пучок. Жестянка, из которой он пытался поить меня, покрыта слоем липкой гниющей грязи. От мысли, что я пила из этой посуды, меня скручивает рвотный позыв. Мужчина укоризненно качает головой. Если не будешь пить, говорит, умрёшь. Если захочешь жить, привыкнешь. Он оставляет подле меня посуду и уходит. Чтобы выйти, набрасывает на себя какой-то балахон, поднимает полы тента, и на мгновение меня ослепляет неистовый солнечный свет. Я ложусь и закрываю глаза. Я лучше умру, чем пить весь этот букет инфекций. Лучше смерть от жажды, чем жизнь в этом испепеляющем аду или мучительная гибель от какого-нибудь заболевания.

Я помню из загрузок, что наверху остались люди. Ковчеги не в состоянии принять всех жителей Земли. Лет тридцать назад ещё проводились операции по отбору новобранцев: на войне с иными гибнет много людей. Сейчас вниз уже не забирают. У жителей поверхности слишком много мутаций от солнечной радиации, слишком много неизлечимых болезней… И теперь тут, на родине мамы, я. Мама родилась наверху. Она часто рассказывала мне о северном городе в котором жила. О её дедушке Кариме, у которого отец был астрономом, о её друге, Рустаме, и о занавеске в ромашку. Мама, моя милая мама…

Мама любила Вивальди. Помню, у неё на будильнике стояла «Весна». Когда я была маленькой, я вставала чуть раньше родителей и прокрадывалась в их комнату. Я тихо ложилась на постель между мамой и папой и ждала начала аллегро. Сейчас я понимаю, что, конечно же, будила обоих. Но тогда... Они так терпеливо изображали сон, что я верила. Верила, что моих родных будят первые аккорды творения гениального классика и лёгкий шум несуществующих берёз. Мама сонно гладила меня по голове и называла «моё чудо». Спустя много лет я узнала, что, оказывается, я — действительно чудо. Ведь врачи говорили маме, что она не может иметь детей.

Ещё мама мечтала попробовать малину. Она очень любила малиновый джем. Во времена её молодости всё только начиналось, и люди кушали эти противные каши, сдобренные синтетическим вареньем. Поэтому я была очень рада, когда сканирование и тесты определили меня биологом. Мне тогда было десять лет, и я мечтала вырастить для мамы настоящую малину. Не знаю почему, но именно это растение никто не синтезировал из сохранённого генетического материала. В те времена лаборатория знала уже много воскрешённых культур, но малины не было. Я очень хотела вырастить малину для мамы... Мама, кажется, у меня получилось. Получилось... Получилось в тот самый день, когда ваш с папой истребитель подбили. Мне исполнилось семнадцать, и я сдавала свой первый курсовой проект: реконструирование вымерших видов плодово-ягодных культур.

Помню, как долго стояла у входа в аэростоянку, на верхнем ярусе. Пришла сразу после экзамена, не могла ждать. Я хотела скорее сообщить маме, что у неё скоро будет настоящая малина! Стояла чуть дальше встречающих военных и врачей. Гражданским обычно не разрешали присутствовать на прибытии истребителей, но для меня делали исключение — родители были заслуженными пилотами. Ещё год полётов — и оба ушли бы в отставку. Слышала, что говорили, будто бой был особенно тяжёлым. Что много потерь. От этих разговоров веяло каким-то странным щемящим чувством. Чувством невыразимой тоски, глубокой и вечной. Сейчас я уже знаю, что это, это — дыхание смерти. Дух вечности. Но тогда... Я стояла за мас-

сивными спинами солдат и с замиранием сердца смотрела на прибывающих. Раненых действительно было много. Некоторые самолёты возвращались на одном двигателе. Их окружал чёрный дым и от них разило неестественной едкой вонью умирающих машин. Я стояла и смотрела, как людей выносят на носилках, как кричат врачи, как бегут за подмогой военные... Я стояла и смотрела, как закрывается потолок аэростоянки, как уходят последние пилоты, как пустеет зал. В воцарившемся хаосе про меня забыли. Я стояла и смотрела, как робот приехал убирать лужи крови и топлива. Я стояла и не могла поверить, что мой самолёт уже никогда не прилетит. Стояла, пока мягкий голос системы не объявил, что аэростоянка закрывается и гражданам ковчега необходимо покинуть помещение. И тогда я поняла, что осталась одна.

В тот день я не вернулась на учёбу, пропустила загрузку. Я легла на родительскую кровать, включила Вивальди и мамины любимые берёзы. Мамина подушка ещё хранила её родной запах и даже один солнечный волосок… Ко мне пришла Ребекка. Она принесла из столовой еду и села подле моей постели. Она ничего не говорила. Ребекка расстелила на полу полотенце и стала ждать меня. Через некоторое время я нашла в себе силы и спустилась к ней. Подруга обняла меня. Когда мы покушали, Ребекка предложила переехать к ним в каюту, ведь теперь мне придётся освободить свою и переселиться в общую. Но я отказалась: у Ребекки есть брат и младшая сестра, селиться к ним пятой мне было неловко. В общей каюте я тоже буду не одна.

Ребекка держала меня за руку на чествовании погибших воинов. Она была со мной, когда открывали Стеллу Героев. И она вернула меня к учёбе, заставила вновь ходить на загрузки. Благодаря ей я защитила свою диссертацию и стала настоящим биологом. Я получила почётную работу в отделе терраформирования.

В свободное время мы с Ребеккой часто гуляли по залам терраформирования: представляли, будто наверху. Я включала стены, безликую заставку вечного поля. Ребекка брала меня за руку и спрашивала, куда сегодня отправимся? Сначала в тропики, а потом на север? Или наоборот? Я улыбалась и говорила, что надо проложить маршрут, как настоящие туристы. Ребекка смеялась: мы взрослые люди, а ведём себя, как дети. Я в ответ пожимала плечами, и мы шли гулять. Иногда мы представляли, что гуляем под звёздами. Ночное небо мы видели лишь на фотографиях. Как же должно быть чудесно, когда мир освещают мириады других миров...

Удушающая жара и жажда вырывают меня из блаженного сна. Сквозь закрытые веки вижу неистовый свет. Тут нет волшебных звёзд. Тут ничего нет, кроме адского пекла, грязи и инфекций. И убийственного запаха. Запаха пота и разложения. Я открываю глаза и сквозь расплывающиеся жёлтые круги вижу, как мама берёт пульт и включает стены. Теперь меня окружает несуществующий лес. Мама включает звук, и деревья начинают нежно шелестеть. Сквозь листву пробивается цифровое солнце, и мне кажется, что его лучи похожи на лёгкий тюль. Или на северное сияние. Совсем как настоящие. Нет. Настоящее солнце убивает.

Ребекка мне говорит, что раньше заставка была не на все стены — раньше были мониторы, которые называли окнами. Да, отвечаю, я видела на фотографиях. На старых маминых фотографиях. Мама, говорю, любила берёзы. И ромашки. Она их называла солнышками.

Ребекка смеётся. Нет, это не Ребекка.

— Если ты не будешь пить, ты умрёшь, — говорит не Ребекка.

— Я не хочу жить здесь, — выдавливаю из себя слова.

— На ковчег тебя не отпустят. Нам нужны образованные люди. Поэтому мы и напали на бронеход. Ради мозгов, оружия и топлива.

— Значит, вы обойдетесь без моего мозга.

Человек вздыхает.

— В бреду ты часто завала маму и Ребекку. Ребекка тоже была в бронеходе?

Это действительно не Ребекка. Она не стала бы спрашивать о самой себе. Очертания человека становятся яснее, и я узнаю его: он пытался напоить меня водой.

Киваю в ответ. Мужчина спрашивает, как выглядела Ребекка. Я собираю все силы и говорю, что, как и все: в серой форме, с биометрическим браслетом-паспортом гражданина ковчега, лысая. Правда, она не делала татуировок на черепе — говорила, что на её чёрной коже синие вензеля будут смотреться некрасиво. Мне кажется, она просто боялась. От боли в горле я закашливаюсь, и мужчина вновь протягивает мне воду. Он говорит, что его зовут Артур, и что это — самая чистая вода, которая у них есть. И если чернокожая женщина — моя Ребекка, то она жива. И единственный человек, которому по силам её спасти — это я, у других для этого нет знаний.

Ужас накатывает на меня ледяной волной, я беру у Артура его грязную чашку и начинаю пить. Меня тошнит от запаха и гнилого вкуса воды, но я стараюсь не дышать и допиваю. Допиваю ради неё, ради моей Ребекки. На удивление, становится легче. Артур улыбается и говорит, что мне повезло. Из всех, кто был в бронеходе, я — единственная не получила тяжёлых травм. Врач их табора погиб месяц назад, поэтому помочь своим товарищам могу только я. Артур спрашивает моё имя и кем я была на ковчеге. Меня зовут Ника, и я биолог. Занималась реконструкцией растений. Артур смеётся: у вас там что, восклицает, даже сады растут? Я киваю, в отделе терраформирования, отвечаю. Улыбка Артура превращается в гримасу, он с ненавистью смотрит на меня, но больше ничего не говорит.

Я пытаюсь сесть, но ватное тело не слушается. Я спрашиваю, сколько прошло времени после катастрофы. Артур отвечает, что около суток. Это много, очень много! Что с Ребеккой? Что с другими? Прошу Артура помочь мне встать. Он черпает воду из жестяного таза чашкой, и снова протягивает мне. Он даже не помыл её. Меня сковывает очередной приступ тошноты, но ради Ребекки я заставляю себя пить.

Пытаюсь встать, но тут же падаю обратно. Голова кружится и нестерпимо болит. Кажется, у меня сотрясение мозга. Но я вновь силюсь подняться. Я спасу Ребекку. Мокрая от пота одежда липнет к телу. Хочу снять водолазку, но Артур останавливает меня, говорит, что если я хочу выйти, придётся надеть ещё и паранджу, иначе кожа сгорит на солнце. Я прошу его помочь. Артур берёт меня под руку и помогает встать. Ноги подкашиваются, но я держусь. Кажется, я хочу есть. Но о еде я даже боюсь заикаться: представить не могу, чем питаются на поверхности.

Артур протягивает тёмные очки и серый марлевый мешок с прорезями для глаз. Говорит, что большинство ходят так, полностью закрытые от солнца. Вот у Зака, говорит, иммунитет. Он справляется без очков и паранджи. Я стараюсь не смотреть на бурную жизнь, которая разворачивается на оправе солнечных очков, и надеваю их. Мир становится серым. Затем Артур одевает на меня просаленный мешок, который он назвал паранджой. Какая это паранджа? Настоящая паранджа, помню из загрузок, женская одежда в мусульманских странах, а не грязная мешковина. Но я молчу. Я не говорю Артуру, что его мешок никак нельзя называть паранджой. Я жду, пока он наденет свой балдахин, и стараюсь не упасть от слабости.

Артур берёт меня под руку, и мы выходим. Бытие ослепляет: даже сквозь чёрные очки и сетку паранджи мир нестерпимо светится. Горячий воздух тут же пронзает лёгкие, не давая сделать и шага. Паранджа прилипает к моему мокрому от пота лысому черепу, и кажется, будто на голове полыхает огонь.

Я не могу сдвинуться с места, Артур терпеливо ждёт, когда я совладаю с собой. Он говорит, что днём стараются не покидать палаток, все работают ранним утром или вечером. Табор меняет стоянку ночью. Я не хочу узнавать подробности их жизни, я прошу отвести меня к Ребекке. Артур говорит, что лазарет на краю стоянки. Там, в общем шатре, они держат больных. Я же, по их мнению, здорова, поэтому меня поместили в палатку Артура. Я хочу возмутиться, но передумываю: на ковчеге в общей каюте я прожила десять лет. Правда, на ковчегах женские каюты располагаются отдельно от мужских. А вот семейную, с одной или с двумя

комнатами, надо заслужить. У моих родителей была именно такая — двухкомнатная. Почти дворец.

Опираюсь на Артура и с трудом переставляю ноги. Жар от серого песка ощущается даже через подошву обуви. Между палаток почва утоптана; сами тенты, собранные из непонятно чего, утопают в песке и мусоре. В душном воздухе витает тошнотворный запах гнили. Или так пахнет моё новое одеяние, которое с момента создания, скорее всего, даже не стирали.

Артур говорит, что отныне это мой дом. Я должна стать их врачом и обучить врачеванию всех, кто сможет учиться. Я тихо интересуюсь, почему этого не делал их предыдущий врач. Потому что предыдущий глава табора не считал обучение необходимым, отвечает Артур. Барон полагал, что самое главное — научить людей драться и добывать воду. Теперь старый барон умер, а новый барон имеет прогрессивные взгляды. Я замолкаю. Говорить мне тяжело, высказывать своё мнение относительно «прогрессивных взглядов» совершенно не хочется. Наверное, солнечная радиация влияет и на способность ясно мыслить. Если я выживу, если не смогу вернуться домой, значит, меня ждёт та же судьба — сойти с ума от невыносимой жары.

Обливаясь потом, превозмогая боль и сдерживая рвотные позывы, дохожу до большого шатра, который Артур назвал лазаретом. Артур поднимает полы тента, и я прохожу в чёрную дыру.

После ослепительного солнца ничего не вижу. Артур помогает снять паранджу, снимаю очки, и мир становится зелёным. Я готова упасть от слабости, но меня держит Артур. Через некоторое время круги перед глазами меркнут, и передо мной предстаёт лазарет во всей красе. Люди лежат прямо на земляном полу, на тряпках. Все вместе. Раненые граждане ковчега кажутся белоснежными по сравнению с загорелыми людьми поверхности. Раны всех, и моих соплеменников, и кочевников, перемотаны грязными тряпками. Кто-то стонет. В густом прелом воздухе стоит тошнотворный запах болезни и разложения. Делаю пару шагов по узкому проходу, и моё сердце обрывается: Ребекка лежит без сознания. Я забываю обо всём: о том, что я еле стою на ногах, что меня вот-вот стошнит, о том, где я оказалась. Я отпускаю Артура и шагаю к ней. Сажусь рядом, поднимаю тряпки, которыми её укрыли, и от увиденного у меня перехватывает дыхание. Открытый перелом ноги. Ребекке грубо вправили кость, нога распухла и загноилась. Тряпки, сдерживающие перелом, мокрые от крови и выделений. Касаюсь её лба: жар чувствуется даже среди окружающего пекла. Сепсис. Нет никакого сомнения, что рана заражена. Её нужно срочно промыть, нужно вколоть антибиотики. Почти кричу от ужаса. Почему рану не промыли водой? Где аптечка из бронехода?

Артур опускается рядом. Он кладёт руку на моё плечо.

— Ника, у нас нет воды, — тихо говорит.

Я убираю его руку и смотрю ему в глаза.

— Неужели вы все тут настолько неграмотны, что не понимаете, что раны нужно промывать чистой водой? Если вы хотите, чтобы я…

— У нас нет воды, — перебивает меня Артур. — Совсем нет.

У меня в голове воцаряется хаос. Я помню, что с водой на земле проблемы, поэтому нормы на ковчегах маленькие. Но не может такого быть, чтобы её не было совсем.

— А то, чем меня поили? Принеси сюда хотя бы этот таз. Она же умирает! — плачу. Артур смотрит на меня с искренним сочувствием, но мне всё равно хочется убить его. Это он во всём виноват. Наверное, он руководил нападением на наш транспорт. Не знаю, почему я так решила. Я его ненавижу. Ненавижу! Ненавижу всем сердцем.

— То, чем тебя поили, та вода — это вода для всей деревни. Колодец, который мы вырыли, почти высох. Нам надо менять стоянку, и мы будем делать это через два дня, когда скопим достаточно воды для перехода.

— Через два дня? — меня скручивает спазм. Отдышавшись, обвожу глазами раненых. — А как же они?

— Лучше десять трупов, нежели смерть всего табора.

Мой мир рушится, падает во тьму. Я смотрю на него, на этого грязного человека, и не могу понять. Как можно оставить людей умирать? Как можно не давать воды?

— Я сама принесу воду. Ты принеси аптечку из нашего бронехода. Она уцелела?

Артур вновь кладёт руку на моё плечо. Но уже не мягко, а властно.

— Ты ничего не принесёшь, — говорит холодно. — Вода нужна для перехода на другую стоянку. Нас тридцать человек. Люди должны как-то пить до тех пор, пока мы не выроем колодец на новом месте. Но мы не можем собрать воду даже на переход. Поэтому Зак злился, когда я поил тебя. Эти две кружки — наша дневная норма, Ника. Мы не будем промывать раны. У нас нет воды.

Я с силой сталкиваю с плеча его руку и поднимаюсь. Аптечка, спрашиваю, где? Она уцелела?

Артур встаёт следом и отрицательно качает головой.

— Уцелела, — говорит. — Только Ребекке ты уже не поможешь. Лекарства необходимо сохранить для излечимых больных.

Я кричу, истошно кричу. Ненависть к этим людям душит меня. Они убили Ребекку. Они убили Тома и Зульфию. Как же я хочу, чтобы все они здесь, наверху, тоже погибли.

— А зачем, зачем ты сказал, что я могу её спасти? — толкаю Артура в грудь и уливаюсь слезами. — Их спасти? Зачем обманул меня?

— Чтобы спасти тебя. Потому как ты больна излечимо.

Ужас валит меня с ног, я падаю на колени. Слёзы бессилия душат. Артур спокойно стоит рядом, ждёт, когда я успокоюсь. Свет озаряет мир и тут же гаснет: в лазарет кто-то вошёл. По шуршанию ткани слышу, как человек снимает накидку.

— Что с ней? — спрашивает мягкий женский голос. Удивляюсь: на поверхности живут женщины?

— Она знакомится с реальным миром, — отвечает Артур.

— Что-то у неё плохо получается. Ты уверен, что это лысое существо нам нужно живым?

— Уверен, Роза. Это, как ты выразилась, лысое существо — прекрасная молодая женщина, биолог. Она станет нашим врачом и будет учить нас грамоте.

— Мне кажется, она ничему не будет нас учить. Я бы не стала помогать тем, кто забрал у меня всё.

— Ника станет.

— Только если вы дадите мне воду и аптечку, чтобы спасти Ребекку, — я оборачиваюсь к говорившей и замираю.

У входа в лазарет стоит высокая худая женщина. Она не просто худа, она болезненно худа. Она выглядит как узники военных лагерей в загрузках истории. Её щеки настолько впалые, что кажется, будто сквозь испепелённую солнцем кожу проступают очертания зубов. Глаза окружают болезненно чёрные круги. Женщина понимает мой остекленевший взгляд и криво улыбается. У неё два зуба, и те — чёрные.

— Я не пойду с вами на новую стоянку, потому что не переживу перехода, — говорит Роза. — Я умираю, как и твоя подруга. Только, в отличие от неё, я никогда не жила.

Сквозь ужас пробивается нелепая мысль о том, что голос у Розы очень красивый. И, наверное, сама она была бы красивой женщиной, если бы… Ком застревает у меня в горле, и я оборачиваюсь к Ребекке. Хорошо, что она без сознания. Хорошо, что без сознания они все. Но страшно подумать, что будет, если кто-нибудь из них очнётся. Кто-то где-то стонет. Слышу, как ещё один голос просит воды. Наверное, я умерла и попала в Ад. Хотя, на ковчегах религий нет. Религии мы изучаем в загрузках истории. Но если я не верю в Ад, то могу ли в него попасть?

— Если мы оставим их так, — хриплю, — они умрут в страшных муках.

— Не оставим, — отвечает мне Роза. — Для этого у нас есть палач.

Мне становится совсем невыносимо, но сознание упрямо не хочет меня покидать. Роза говорит, что палач заберёт и её жизнь, она устала мучиться. Она говорит о том, что на поверхности иначе нельзя, что все кочевники живут так. И я буду жить так же. Я привыкну, как и все те, кто пришёл из-под земли. Она говорит, а я хочу проснуться. Если потерять сознание я не могу, то, наверное, могу очнуться ото сна.

Артур протягивает мне руку и говорит, что пора идти. И я принимаю его помощь. Я ненавижу себя за это, но я сдаюсь. Надеваю очки и паранджу и вновь выхожу на пекло. Чтобы не упасть, держусь за Артура, за человека, которого ненавижу. Человека, который обрёк на ужасные страдания Ребекку. Почему-то мне кажется, что он — новый барон табора. Артур говорит, что мы вернёмся в его дом, и я должна буду поесть. Потом мне обязательно надо уснуть, чтобы завтра начать работать вместе со всеми.

Мы идём обратно, меж убогих палаток, а я вспоминаю, как мечтала увидеть настоящий мир. Наше подземное бытие, порой, меня угнетало, а в минуты отчаяния казалось совсем невыносимым. Жёсткая дисциплина, строго регламентированная жизнь... Утренние уколы, еженедельные осмотры у психиатра. Бóльшая часть граждан живёт на антидепрессантах. Постоянный стресс и жизнь в ожидании нестерпимого воя сирены, предупреждающей о налёте иных. На ковчегах нет личностей — есть лишь исправно работающие элементы системы. Но... То, что я ругала про себя, на деле оказалось отлаженным механизмом выживания. Понимала ли я это тогда? Понимала. Глубоко в душе понимала. Но не хотела соглашаться со своим пониманием. Я размышляла о призвании, о личности и о свободе. Наивно полагала, будто наверху, среди опасностей, осталась эта самая свобода... Ребекка. Милая, родная Ребекка. Из нас двоих свободной скоро станешь ты.

Артур заводит меня в палатку, и от слабости я падаю. Он говорит, что перед сном мне обязательно надо поесть. Артур с гордостью даёт мне кусок чёрного вяленого мяса. Мясо пустынной собаки, говорит, если кто узнает, что я кормлю тебя такими деликатесами — тебя саму съедят. Смеётся. Мне становится не по себе: за сегодняшний день это второе упоминание о людоедстве. Почему-то мне кажется, что это не совсем шутки. Но я не озвучиваю свою догадку, я просто спрашиваю, что едят на поверхности? Собак. Крыс. Прочих грызунов. Змей, варанов. Жуков. Пустынных голых землекопов. У табора есть три джейрана, самец и две самки. Неслыханное богатство. Правда, исхудали совсем, умрут, видимо, скоро. Вот тогда и съедим, будет настоящий пир. На поверхности едят всех, кто смог пережить изменение климата после Вторжения. Артур говорит, что слышал о том, будто кто-то где-то даже вырастил пшеницу и картофель. Иногда растят лук, его головки стоят целое состояние. Кочевники рассказывают, будто на севере есть живые участки хвойных лесов. Там можно и траву какую-нибудь собрать. Людоедство тоже в чести. И не надо с таким ужасом смотреть. Жить захочешь — поймёшь, что погибший в бою человек —отличный кусок питательного мяса. Артур добавляет, что он против такого. С тех пор как он стал бароном, в его таборе людей не едят.

Я слушаю его, и не могу заставить себя съесть мясо. Мне кажется, я теперь вообще не смогу есть. Крысы. Собаки. Умершие от болезни газели. Люди. После откровений Артура я не уверена, что он предлагает мне съесть гиену. Хотя, из всего перечисленного собака — самый безобидный вариант.

— Ты привыкнешь, — говорит Артур и кладёт себе в рот такой же кусок мяса. — Через некоторое время ты поймёшь, что вяленое мясо собаки — изысканное блюдо, — жуёт, а у меня звенит в ушах. — Собака — это не какое-нибудь мерзкое насекомое. Это деликатес.

Кладу мясо обратно на кусок жестянки, но Артур качает головой: голодать никак нельзя. Голод — самая страшная из болезней.

Но я его больше не слушаю. Я ложусь на грязные тряпки, расстеленные на земляном полу, и закрываю глаза. Невыносимая жара и вонь. Я сдаюсь. Я не могу спасти Ребекку, я не

могу спасти себя. Я не солдат, я всего лишь учёный. Оказывается, я вообще ничего не могу. Чувствую, как слёзы сами катятся из глаз. Не размыкая век говорю, что лучше бы меня убили.

Тёплая и сухая ладонь ложится мне на голову и гладит. Но я не открываю глаз. Я, шепчу, решила умереть. Я не буду есть мясо и пить воду. И я никуда не пойду. Я обращусь к палачу, как Роза. И я покину этот мир вместе с моей дорогой Ребеккой — пусть палач убьёт нас вместе.

Артур говорит, что он больше не будет меня принуждать: если я так твёрдо решила умереть, значит, это мой выбор. Он действительно руководил нападением на наш бронеход, и вся ответственность за смерть моих близких и за мою жизнь лежит на нём. Он знает, что ему нет прощения, поэтому он его не просит. Но кочевники нападают на бронеходы не от ненависти к жителям ковчегов. У нас, говорит, нет другого выхода. Больше неоткуда достать лекарств и топливо. Некоторые занимаются поиском трофеев на полях сражений, но там немного удаётся найти. Сбитый бронеход — целое состояние. При аккуратно проведённой операции, добытое может обеспечить табор товарами для мен, лекарствами и даже едой на несколько месяцев. Земля, говорит, умирает. А мы — вместе с ней. Но жить-то хочется всем, даже смертельно больным лучевой болезнью.

Я ничего не отвечаю. Я даже не совсем понимаю, что он говорит. Головная боль и слабость качают меня на волнах тихого ужаса, который увлекает во тьму.

Тьма рассеивается от холода. Пытаюсь согреться — не выходит. Мне даже нечем укрыться. Почему отключили отопление? Пытаюсь позвать соседку по каюте, открываю глаза и... понимаю, что просто село солнце. Сквозь брезент палатки видны разведённые костры. С улицы доносятся голоса. Кто-то даже смеётся. А мне нестерпимо хочется есть. Есть и согреться. Но... кажется, я решила умереть. Да, я обращусь к палачу. Хотя не обязательно обращаться к нему голодной. На ощупь нахожу жестянку, которая днём выполняла функции тарелки. Артур накрыл её крышкой, под которой осталось мясо. В густых сумерках оно выглядит не так противно как днём, да и в отсутствие жары запахи менее сильны и тошнотворны.

Закрываю глаза и откусываю мясо. Прело-солёное, тут же хочется выплюнуть, но я пересиливаю себя и жую. Следующий кусок кажется менее мерзким, а может, и вполне приемлемым. Я доедаю мясо, поднимаюсь и ищу жестяной таз с водой. Рядом с ним всё ещё стоит жестянка. По примеру Артура зачерпываю воду и пью.

— Ты передумала умирать? — раздаётся позади меня голос, и от испуга я роняю чашку. Хорошо, что я успела её полностью опустошить, иначе бы мне грозила смертная казнь.

Оборачиваюсь: позади меня у входа стоит Артур. Увлечённая едой я не заметила, как он вошёл в палатку. В ответ мычу что-то невнятное, но Артур подходит ко мне и берёт за руку. Пойдём, говорит, и ты окончательно утвердишься в своём решении.

Он протягивает мне какую-то тряпку, одеться. Говорит, серая одежда граждан ковчегов на поверхности не в чести. Я накидываю на плечи балахон, и позволяю Артуру вывести себя из палатки.

Выходим, и я зажмуриваюсь на несколько секунд от яркого света костров. Улица оживлена. Люди заняты делами, общаются, смеются. В свете огня деревня и её жители выглядят не такими убогими. Темнота заботливо укрывает боль, голод и страдания. Очнулась ли Ребекка? Привел ли палач в исполнение страшный приговор?

Завидев меня, люди останавливаются, перешёптываются, показывают пальцами. Я замираю, не сделав и пары шагов. Хочется исчезнуть. Наверное, все они желают мне смерти. Ведь я, в отличие от них, жила, как сказала мне Роза. Где она? Хочу найти знакомое лицо. Инстинктивно делаю шаг назад, но Артур останавливает меня. Он громко представляет меня деревне: Ника, биолог. Наш новый врач и учитель. Она знает наш язык и ещё несколько наречий. Она сможет вести переговоры с племенами, говорящими на других языках.

Но люди не спешат ликовать. Глаза собравшихся взирают на меня с опаской. Её жизнь под моей охраной, предупреждает цыган Артур. Ника — самое ценное сокровище, добытое на последней вылазке. Амулет нашего табора.

Меня коробят слова Артура, но я молчу. Я теперь — трофей, рабыня, как сказали бы люди древности. Рабство на земле было широко распространено. Хотя, почему «было»?

— У вас там правда есть водопровод? — выкрикивает кто-то из толпы. Обращаю внимание на Артура: он смотрит на меня, всем видом показывая, что мне необходимо ответить. И я киваю, говорю свое робкое «да».

Меня засыпают вопросами. Спрашивают обо всём: об укладе жизни, о еде, о лекарствах, о том, как мы боремся с иными, и правда ли строят подводные ковчеги. Кого-то интересует даже личная жизнь граждан подземья. Когда я говорю, что на совместную жизнь паре необходимо получить разрешение, деревня единодушно смеётся.

Через некоторое время мне становится плохо. Я устаю от вопросов, смеха, злости и негодования. Меня вновь тошнит и болит голова. Артур замечает, что я устала, и останавливает толпу. Он говорит, что я обязательно отвечу на все их вопросы, только позже, ведь я теперь тоже член табора. Люди возмущаются, но постепенно расходятся.

Когда нас оставляют в покое, я прошу Артура отвести меня к Ребекке и остальным, но цыган отрицательно качает головой: они, говорит, они все и Роза уже в другом мире. Я плачу. В живых остались только трое солдат, которые, как и я, отделались лёгкими ушибами и сотрясением мозга. Но солдаты не хотят идти на переговоры. Их держат в отдельном шатре, и если я захочу, я могу попробовать уговорить их пойти на компромисс. Если же договориться с ними не получится, их придётся убить.

Я молчу. Мне будет стыдно перед солдатами за то, что я так быстро сдалась, поэтому я ничего не отвечаю. Тогда Артур берёт меня под руку и говорит, что хочет мне кое-что показать. Я покорно соглашаюсь. Мы огибаем наш шатёр, проходим ещё несколько палаток и идём прочь от стоянки. Ноги вязнут в чёрном песке, который ещё хранит дневной жар.

Когда огни стоянки остаются далеко, Артур просит меня посмотреть на небо. Я не понимаю. Зачем? Просто, говорит, просто подними голову. Я жду подвоха, поднимаю голову и замираю. Я много раз видела фотографии ночного неба, но такое… Звёзды, большие и яркие, мерцающей полосой пересекают небосвод. Живой объёмный небосвод. Всей грандиозности этого зрелища не может передать даже самое безупречное изображение. Мы с Ребеккой иногда представляли, что гуляем под звёздами, но настоящих звёзд мы никогда не видели. Алмазы, сияющие алмазы в бесконечной тьме. Голубые и жёлтые. Как же оно прекрасно… И тут метеор серебряным росчерком сверкает в вышине. Древние люди загадывали желание, когда видели падающую звезду. Этот ритуал мне казался смешным и нелепым: как может падающий на Землю космический мусор исполнить желание? Но сейчас я жалею, что не успела загадать желание. Потому что моему самому заветному желанию исполниться не суждено. Я плачу.

Спустя шесть лет я продолжаю плакать, когда смотрю на звёзды. Ведь в то самое мгновение, когда я впервые увидела ночное небо, я поняла, что надежда есть. Именно тогда, когда я смотрела в бесконечность небосвода и держала за руку человека, которого ненавидела всей душой, я почувствовала, что хочу жить. Хочу жить, не смотря ни на что. Хочу жить даже без Ребекки. Хочу жить даже на умирающей поверхности земли. Поняла, что моя ненависть к ним, к грязным людям поверхности, к людям, которые отобрали у меня всё, когда-нибудь пройдёт. А может, я смогу их даже понять. И принять.

Сейчас я часто ухожу из деревни ночью смотреть на небо. Поначалу со мной ходил Артур, но скоро он понял, что я не сбегу и позволил мне бывать одной. У меня, как у врача и учителя, теперь своя палатка. Цыгане уже не смотрят в мою сторону косо и не считают съеденного мной на обед. У меня даже появились друзья. Но это сейчас.

Первое время было невыносимо. Каждую ночь мне снился дом: мама, папа, Ребекка и ковчег. Каждый день я умирала от жары и расстройства желудка. Укусы насекомых превращались в настоящую пытку. Не раз я была при смерти. Но Артур разрешал мне пользоваться лекарствами, потому что знания, которыми я обладала, были, по его мнению, намного ценнее. И я выжила. Мой организм смог адаптироваться к новым условиям. Моя кожа стала бронзовой, а волосы отросли. Они у меня рыжие, как у мамы. Вначале я их брила и пыталась убедить в необходимости этой процедуры других, ведь в условиях нехватки воды быть лысым легче. Но кочевники оказались непреклонны: лысые головы у них ассоциировались с ненавистными жителями подземных городов. И к тому же, говорили они, волосы — дополнительная защита от дневного солнца и ночного холода, да и просто — красиво. Красиво. Цыгане делали причёски из свалянных волос, иногда вплетали в них самодельные бусы или куски проволоки. Они даже носили украшения из обрывков проводов. И я попробовала тоже.

Но настоящим откровением для меня стали праздники. Я узнала, что такое праздник, после первой смены стоянки. Я ещё не оправилась после крушения бронехода, мне было плохо от нового питания. Меня рвало, у меня была температура и нестерпимая головная боль. Мы шли ночью, я с трудом переставляла ноги. Кажется, в бреду я просила Артура оставить меня в пустыне или позвать палача. Но цыган мне сказал, что я справлюсь. И я справилась. Когда мы пришли на новое место, где, как предполагали, можно вырыть колодец, я упала в обморок. Очнулась уже в палатке, от шума и громкого пения. Я нашла в себе силы и вышла на улицу. Люди пели и танцевали вокруг костров под аккомпанемент самодельных ударных. Кто-то мне сказал, что вырыли хороший колодец: вода есть, и теперь все празднуют спасение. Ведь переход — всегда риск для табора. Страшно на новом месте не найти воды. Многие погибли так.

Сейчас я смотрю на звёзды и вспоминаю множество мёртвых стоянок, которые видела на своем пути за шесть лет, проведённых на поверхности. Когда погибли родители, когда смерть впервые коснулась меня, я остро почувствовала её зловещее дыхание за своей спиной. За спиной каждого из нас. Наверху смерть не за спиной, она стоит к тебе лицом и ждёт, когда ты неосторожным движением коснешься её.

Я пережила налёты иных. Вой их истребителей несравним с сиреной ковчега. Он выворачивает наизнанку душу. Как родители могли сражаться с ними всю жизнь? Мне кажется, я бы умерла во время первого боя. Смертоносные лучи иных, издающие гудящий, пробирающий до костей звук, испепеляют тела так, что не остаётся даже атома… Из загрузок знаю, что это их излучение называется холодным. Только уже не помню, почему. Помню невообразимую панику, охватившую табор, когда вдалеке послышался странный звук, похожий на писк. Звук становился всё громче и невыносимее, а люди в ужасе сворачивали палатки, расставляли по периметру стоянки сети — систему связанных между собой антенн. Потом я узнала, что так создают радиоэкран, который скрывает стоянку с радаров иных. Я не знаю, насколько эти меры действенны, но люди в них верят. После того, как палатки собраны и антенны расставлены, кочевники прячутся, ложась на землю и закрываясь брезентом. С высоты, да при скорости, которую развивают истребители иных, спрятанное таким образом поселение становится менее заметным. Моя первая встреча с иными была лёгкой, нас действительно не заметили: истребители пролетели мимо. Я лежала, укрытая брезентом собственной палатки и замирала от ужаса. Леденящий звук сводил с ума. Они летели совсем низко, земля дрожала. И я дрожала, и я молилась. Я вспоминала отрывки из Библии и Корана, кажется, даже просила Всевышнего помиловать нас. И тогда, когда я первый раз так нелепо молилась Богу, я поняла своих врагов. Поняла, почему кочевники нападают на жителей ковчегов и грабят бронеходы, рискуя жизнью. Напасть на военную машину ковчега для них так же рискованно, как подземным солдатам сражаться с иными. Жители поверхности совершенно беззащитны, в отличие от нас, граждан ковчегов… И тогда, молясь Аллаху вместе с молитвой «Отче наш», перебирая в голове все возможные образы Создателя, я впервые почувствовала, что окружающие люди, цыгане, мне

не враги. Я плакала от ужаса перед смертью и от внезапного озарения. Я долго не могла прийти в себя, не могла пошевелиться, а ведь ничего не произошло. С меня сняла брезент Середе, она улыбнулась мне и прошептала, что всё закончилось. Они улетели, слава Богу.

Второй налёт случился через три недели после первого, и вот тогда была настоящая бойня. Погибла почти треть табора. Я чудом осталась жива: дрожащий луч пронёсся в дюйме от моего убежища в песке. Когда это случилось в третий раз, я ждала смерти. Но я выжила. Вновь, и вновь, и вновь я оставалась жива вопреки всему. Иногда я думаю, что такой сильный иммунитет достался мне от мамы, которая родилась наверху.

За первые два года, что я провела на поверхности, погибло большинство из тех, с кем я познакомилась в первые дни жизни на земле. Но к нашему табору присоединялись новые пилигримы. Артур принимал каждого странника, кто мог работать и вносить свой вклад в нелёгкую жизнь общины.

Я лечила больных и раненых. Я помогала всем, кому могла, а кто мог, тот учился у меня. Азы медицинского образования обязательны для всех граждан ковчегов. Я, как биолог, эту науку изучала глубже. Но я подумать не могла, каким образом буду использовать свои знания, даже не представляла, что когда-нибудь окажусь на настоящей земле.

Сейчас я не только доктор, но и переводчик. Люди поверхности говорят только на одном языке — на своём родном, редко кто знает второе наречие. Кочевые племена из разных частей света общаются друг с другом в основном при помощи жестов. Своеобразный язык, похожий на язык глухонемых. Под землёй каждому загружают пять основных языков: английский, арабский, китайский, русский и латынь. При желании можно освоить больше, но для общения базы хватает.

После того, как я была переводчиком на торговых менах, я предложила людям учиться грамоте. Артур меня поддержал, но после нескольких уроков большинство учеников покинуло класс. Для них, непривыкших к умственному труду, учёба оказалась пыткой. У некоторых даже не получалось сконцентрироваться на процессе урока. Зато те, кто не бросил учиться, сейчас делают успехи. Артур среди первых, исправно занимается. Если бы шесть лет назад мне кто-нибудь сказал, что я смогу жить среди цыган, я бы не поверила. А сейчас я даже горжусь своими учениками. Думаю, родители мной бы тоже гордились.

Я часто вспоминаю то время, когда родители были живы, и мы все вместе жили под землёй. Каждое утро я жду начало аллегро и хочу увидеть зелень несуществующих берёз. Порой мне кажется, что такие воспоминания — не более чем фантазия, а я всю жизнь скитаюсь от стоянки к стоянке, в поисках воды и защиты от иных.

— Я могу нарушить твоё одиночество? — я невольно вздрагиваю и оборачиваюсь: Артур. Киваю, и он опускается на песокрядом. Некоторое время мы сидим молча, смотрим на звёздное небо. Почти у самого горизонта висит сфера — *они*. Но *они* пока далеко.

— У нас вода заканчивается, — говорит Артур. — Пора готовиться к переходу.

Я продолжаю смотреть на звёзды, на дышащее, живое небо. Самое прекрасное, что есть на свете.

— Мне кажется, надо идти на Север, — говорю тихо.

— Зачем?

— Климат меняется, солнце убивает нас. Ты сам слышал от цыган, что на севере сохранилась часть лесов. А ещё на севере остались жилые города. По крайней мере, полвека назад они там были.

— Почему ты только сейчас об этом говоришь? — Артур касается меня рукой, и я оборачиваюсь. В сиянии звёзд его измождённое лицо кажется не таким ужасным. Я хочу спросить, сколько времени потребовалось бы ему самому, чтобы… Но я задаю другой вопрос.

— Я тебе говорила, что моя мама родилась наверху?

— Нет, — удивляется Артур. — А как она попала на ковчег?

Мне потребовалось шесть лет. Шесть долгих невыносимых лет. Теперь я готова. Я рассказываю Артуру о системе сканирования, благодаря которой раньше на ковчеги набирали рекрутов. Маме повезло — её забрали. Правда, однажды мама обмолвилась, что она никогда не была так счастлива на ковчеге, как на поверхности земли. Она никогда мне прямо не говорила, но наверху остался тот, кого она любила всю свою жизнь. Папу она, конечно, тоже любила, но не так. Когда мама говорила о Рустаме, её лицо приобретало особое выражение.

— Первую любовь твоей мамы звали Рустам? — переспрашивает Артур. — Они познакомились в северном городе?

— Да, — киваю.

— А как звали твою маму?

— Кира, — улыбаюсь и смотрю на звёзды. Мама. Милая, родная моя мама, как же я хочу увидеть тебя, услышать твой голос. Вдохнуть аромат твоих солнечных волос. Как же хочу обнять папу, услышать его «Как поживают юные гении нового века?». Папа всегда ко мне так обращался — юный гений. Они с мамой очень радовались тому, что сканирование определило меня теоретиком, а не солдатом.

— Моего отца звали Рустам, — говорит Артур, и я возвращаюсь на землю. — Я был маленьким, когда его не стало. Но я помню, как он маму называл Кирой. Маму звали Милой. Я не понимал, почему мама плачет из-за такой нелепой ошибки отца. Не понимал, пока ты не рассказала о своей маме.

Я смотрю на цыгана, и мне кажется, что я сижу на зыбучем песке, который затягивает меня в свою пучину. Мысли превращаются в круговорот, в ураган, сметающий всё на своём пути. Как такое возможно? История, которая началась полвека назад, история, которая должна была закончиться, вновь ожила в нас. В людях, которые не должны были встретиться, но встретились. Я смотрю на него, на человека, которого уже давно перестала проклинать, и вижу мамины печальные глаза. Глаза, которые говорят о несбыточном и великом.

И я знаю, что он чувствует то же.

— Ты родился наверху? — нарушаю священную тишину.

Артур кивает. Он родился в строительном лагере. Его родители погибли при обвале, который случился во время строительства нового ковчега. Артур тогда был совсем маленьким. Его хотели отправить вниз, но почему-то не получилось. Когда Артур стал подростком, он сбежал из лагеря и примкнул к цыганам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.